

V Мобилизация

Тетушка

Снилась мне какая-то ерунда — кто-то меня куда-то звал, в ногах у меня запутался спинными ремнями Ирочкин рюкзак, я не мог от него отделаться, а кругом назойливо и угрожающе скрипели половицы.

Половицы скрипели безо всякой видимой причины, они корчились и извивались, их торжествующий скрип оглушал меня, и мне почему-то казалось, что на этот скрип явится кто-то ужасный и тогда будет конец всего. Страшный суд или что-то в этом роде.

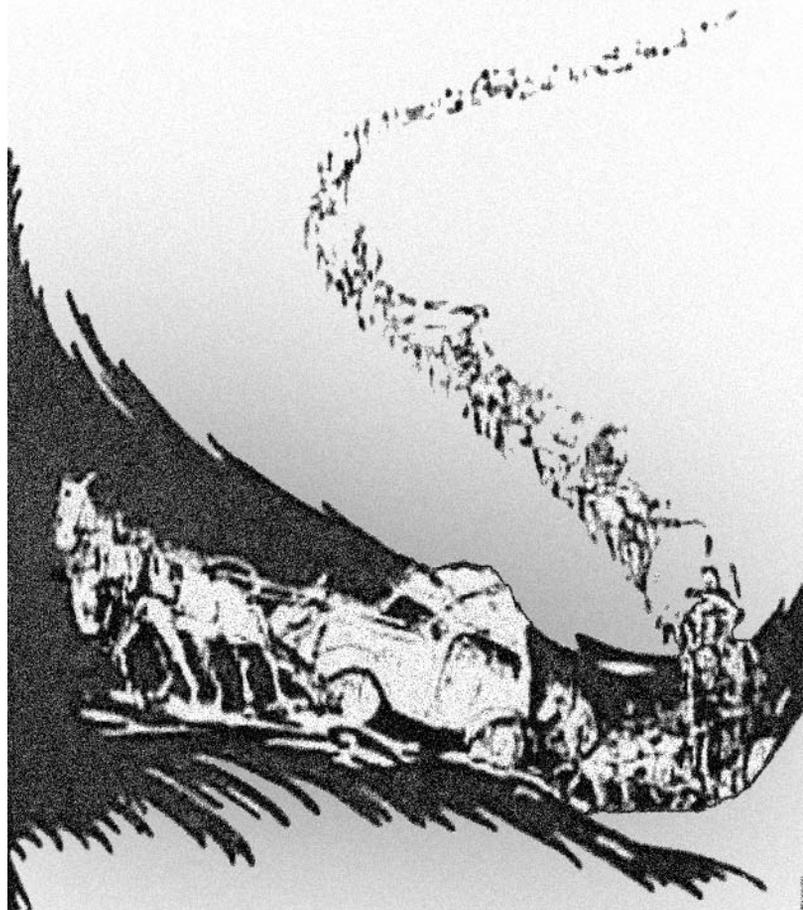
Выяснилось, что пришла Ирочка. Сама она, по каким-то данным от Бога талантам, могла спать где угодно, когда угодно и в каком угодно положении. Разбудить же ее не могло ничто в мире, кроме какого-то, смонтированного внутри ее самой, будильника, по которому она просыпалась по заказу в точно назначенное время: через десять минут или через сутки — безразлично.

Быть может, в силу именно этого обстоятельства от Ирочки невозможно было добиться хотя бы относительной терпимости к спящим. В ее голове не умещалась мысль, что кто-то может проснуться от слишком громкого разговора или хохота, а уж тем более — от такой ерунды, как скрип каких-то половиц. И она, несмотря на шиканье домашних, стойчески скрипела, собирая в одно место разбросанные по всему дому «драпежные» причиндалы.

Я проснулся, проворчал что-то укоризненное и перевернулся на другой бок, намереваясь продолжать в том же духе. Но Ирочка воспользовалась моментом, чтобы собрать необходимые ей сведения. Кроме того, она вообще считала, что это свинство — спать, заставляя прочих вести себя как на панихиде.

Юрий СОЛОНЕВИЧ

ПОВЕСТЬ О 22 НЕСЧАСТЬЯХ



Публикация Е.Г. Соини

— Юрчик, где у тебя швейные принадлежности? Твой рюкзак нужно начисто переделывать: ты со своими фокусами задохнешься на первом же переходе!

Лучшего способа заставить меня вскочить она и придумать не могла: мой рюкзак был своего рода «креасьон», моей конструкторской гордостью и старым товарищем в самых разнообразных передрягах.

Это был глубокий и узкий во всю длину спины мешок, скомбинированный с верхней частью немецкого торнистера, с пришитым к нему широким поясом и широкими ремнями из телячьей шкуры. Он был так устроен, чтобы центр тяжести располагался не на плечах, а как можно ниже — почти на крестце; по ширине он был немного уже спины, чтобы можно было идти по лесу, не цепляясь за стволы и ветки, а пояс и ремни держали его так, что с ним можно было хоть вверх ногами стоять: очень важное свойство для тех случаев, когда приходится часто нагибаться, проползая под деревьями, прыгать или бежать. Шит он был смоленой дратвой — с любовью и молитвой. Отдать такое сокровище на «переделку» Ирочке было для меня совершенно невыносимо!

— Что-о?! Переделывать?.. Нет уж, Ирочка, уж это я вас очень прошу!.. Уж вы только моих вещей не трогайте!

— Хм, не трогайте! Я их и не собираюсь трогать! Но только ты возьми иголку, нитку и ножницы и отпори всю эту сбрую — иначе дышать тебе будет нечем! А то там, в лесу, поздно будет перешивать.

Тон был мягкий, но беспрекословный. Тон старого скаут-мастера, наставляющего желторотого скаутенка в истинах и мудростях походного снаряжения.

От этого тона у меня по спинному хребту проходило вибрирующее движение, и я начинал явственно сознавать все преимущество женского пола перед мужским.

— Ирочка, дорогуша! Я в этом рюкзаке уже два года хожу — ничего, не задохся!

— Где ты там ходил! По дорожкам, брат, ходить — это тебе не по тайге! Вставай, вставай, Юрчик, и берись за иголку! Теперь дело уже вплотную подходит — надо браться всерьез!

Успокоенный тем, что Ирочка, видимо, сама за мой рюкзак браться не собирается, я бросил спорить. Практика выработала во мне такой способ действия: зря не спорить, а потом делать по-своему. Таким образом вы не возбуждаете у себе-

седника того полемического самолюбия, которое иначе заставит его настоять на своем.

Я встал, разделся и в одних трусах побежал во двор, под насос, омывать с себя свои городские прегрешения. Было уже почти темно, и ветер гнал по небу несметные полчища туч, от которых кругом все темнело и темнело. Казалось, будто это не ветер, а сама ночь налетала по небу таким Ганнибалом, насылая на панически бежавшую землю своих разоренных слонов. Несколько сосен и лип, разбросанных по двору, в ужасе закрывались с головой, пытаясь бежать, и, будто вражеские стрелы, тучами заполняли воздух желтые листья.

— А что, если вдруг такой вот детина сорвется с места и побежит?.. — подумал я, глядя на гигантскую соснищу, бившуюся в углу двора. Ей явственно хотелось бежать, но она все-таки стояла, будто какое-то чувство долга держало ее на том месте, куда ее кто-то поставил. — Возьмет и зашлепает гигантскими шагами куда-то через дома, через поля... Ей что? Удержи ее поди! Разве что пограничники поймают... — и я почему-то радостно заржал полной грудью, во весь голос, чувствуя, что в таком ветрище никто меня не услышит и некому будет делать перепуганных лиц.

Стал качать старый скрипучий деревянный насос, влезая спиной под широкую струю и разбегаясь пятками по скользкой грязи вокруг колодца. Сзади что-то твякнуло, и меня опрокинули носом в траву мокрые собачьи лапы. Я рефлексивно впился пальцами в длинную шерсть, и мы стали кататься по траве, воинственно рыча и заезжая порой в крапиву. Было почему-то плевать и на крапиву, и на то, что в этом месте, я знал, валялся всякий утиль, в том числе старые битые бутылки. В конце концов, я придавил Осмаху, моего старого приятеля, за глотку к земле и, делая зверские рожи, на собачьем языке стал насмеяться над побежденным противником. Противник пытался еще что-то предпринимать задними лапами, но вскоре его сопротивление было сломлено, и он жалобно завизжал. Тогда я его отпустил и, ухватив за гриву и за хвост, раскачал и швырнул в высокую кучу бурьяна.

— Ю-чик! — донеслось до меня сквозь тьму и ветер. Будто совесть и ангел-хранитель позвали. Я оглянулся. Без очков да в темноте я различил только какую-то неясную туманность на крыльце и услышал наш собственный стук: бум-бум бум, с расстановками.

— Квак! — крикнул я.

— Катись сюда! — Это был Квак, он же Ватик, он же Ваня, он же Иван Лукьянович. Мой папаша.

Я ощупью нашел очки в расщелине колодца, качнул пару раз, чтобы обмыть следы собачьих лап, и полетел наверх.

В комнате, под лампой, на квадратный обеденный столик Ваня поставил чемодан.

— На, распакивай!

Я «распакнул». Тут был здоровенный бинокль, купленный по случаю где-то в «Московском охотнике» — магазине, занимавшемся, за неимением у граждан права на держание оружия, перепродажей всевозможной походно-рыболовного типа утвари, было пакетов пять пороху, добытого по благу у знакомого зава охотничьей секцией «Динамо», был огромный кусок сырого сала, кил пять гречневой крупы и столько же кускового сахару — все торгсиновское — и, наконец, самое главное, была карта, трехверстка. Настоящая, довоенная, дотошная карта, изображавшая весь район к западу от железной дороги севернее Петрозаводска. Здесь была и граница (правда, довоенная), были и реки, и речушки, и ручейки, были и болота, и леса: словом, как раз то, что нам было нужно. У нас, правда, была уже карта, с которой Ваня в прошлый раз ходил в эти места на разведку. Но там, где он, по его словам, наткнулся на реку — на карте была самая что ни на есть тайга, а там, где по карте надлежало быть селу, — простиралось честное карельское болото. Карта была советская — что с нее возьмешь.

Сухаревка

Настали дни лихорадочной подготовки. Дома опять перестало что-либо печься или вариться: все перманентно пребывали в разъезде, и каждый добывал себе пропитание где мог и как умел. По вечерам, часам к девяти, постепенно начинали собираться и делиться новостями и достижениями: шариком прикатывалась груженная Тамочка и, с места в карьер начиная хлопотать по хозяйству, на ходу докладывала о положении дел на ее фронте. Мрачной личностью появлялся Ва, вываливал из портфеля на стол кучу каких-то бумажек, необходимых для добытия еще большего количества других таких же, и отводил свою издерганную душу в сдержанной, но весьма лютой

ругани по адресу советского кабака... Раньше всех обычно появлялся я, променявший служение «Великому немому» на этикие гермесовские функции: я день-деньской топтался по Сухаревке, втихомолку загоня всяческую нашу семейную подвижность, из той, которая еще могла иметь какую-то, по советским масштабам, рыночную стоимость, и проникая в сухаревские тайники, где всегда пахло всяческой нелегальщиной: порнографическими открытками, «марафетом», запрещенными книгами, долларами и торгсиновскими купонами, гаданием и, наконец, — порохом, пистонами и даже порою оружием. Здесь я «благоприобрел» свою винтовку, застрявшую потом в питерской ЧеКа, здесь я научился торговаться, как старый цыган, и заворачивать карманы брюк так, чтобы из них ничего нельзя было спереть, здесь я, наконец, впервые столкнулся с тем странным слоем советского населения, который пребывал не то чтобы на самом дне, но, во всяком случае, плавал где-то в непосредственной близости этого дна. Здесь я впервые увидел людей, толкавшихся полдня в этой чертовой ступе, с тем чтобы продать пару рваных носков, и тут же познакомился с одним старым жидом, скупавшим не находившие сбыта сухари для переправки их на Украину. За день он накопил их килограммов пять-шесть и переправлял своему зятю, служившему проводником в экспрессе «Москва — Севастополь». Зять раз в четыре дня рисковал тремя годами лагеря. Мой жид каждую минуту рисковал жизнью: у него был туберкулез и он уже двенадцать раз сидел. Торговался он за эти сухари поистине виртуозно: ощупывал и обнюхивал каждую крошку, выковыривал плесень, начиная на «здоровые» сухари одну цену, а на плесень — другую, а когда уже ничего не действовало, он таинственно нагибался к уху продавца и шептал: «Слушайте, у меня семья на Вольни голодающая, уж вы не дерите, как за маму, у меня уже два сына умерло!» На русское сердце такой аргумент действовал, как капля масла на скрипящую ось: продавец сначала смущенно оглядывался, потом пихал свои сухари в покупательский мешок и принимал любую цену. Особо сердобольные бабцы приносили нередко еще и еще... Я долго не мог понять — в чем заключаются его заклинания, пока как-то раз не подслушал. Сказать о Сухаревке, что это базар, не совсем верно. Ярмарка — еще менее. Это не совсем то, что старая толкучка, но и не организованный западноевро-

пейский рынок. Если прибегнуть к точности современных формулировок, я бы назвал Сушку «всемирно-историческим явлением»... Этаким симптоматическим фурункулом на сиденье прекрасного социализма.

Сушка — в первую очередь — неповторимый парадокс. Представьте себе совершенно официально существующую территорию, на которой тысячи и тысячи частных людей бойко торгуют заведомо краденым добром!.. И краденым не как-нибудь, а почти исключительно у государства! Причем если процентов, скажем, двадцать продающейся на Сухаревке всякой всячины и не являются непосредственно крадеными, то продажа половины из этих двадцати процентов официально именуется спекуляцией и карается со всей строгостью социалистического законодательства.

Остающиеся десять процентов честно загоняемой частной собственности с лихвой покрываются не поддающимися исчислению процентами просто награбленного, спертого в порядке «социальной близости», выигранного в карты или попросту замотанного...

Сдвиг, созданный в психологии среднего обывателя введением на Руси социализма, наиболее ярко, по-моему, характеризуется следующим филологическим изменением: если вы, скажем, сперли у Иван Иваныча бумажник, то это так и называется — спереть. Но если вы сперли в государственной столовой пепельницу или в учреждении — чернильницу, или вырезали в вагоне поезда стекло, или что-нибудь в этом роде — то никто не скажет о вас с презрением, что вы «сперли». В голосе говорящего будет нотка уважения и даже порой восхищения: «Вы знаете, он в кабинете начальника достал себе такую шикарную чернильницу!..»

В Советской России девяносто процентов населения что-нибудь где-нибудь по мере сил и возможностей «достает». Когда государство взимает налоги, штрафы, займы, разверстки и прочие повинности — никому не придет в голову сказать про него, что оно что-то там «взимает». Государство «взимать» не может. Оно «грабит». Систематизированный и легальный двадцатилетний грабеж вызывает со стороны населения такие же систематизированные, хотя и менее легальные, ответные действия. «Достает» каждый где и что может. Но не всегда «достающее» соответствует непосредствен-

ным потребностям «доставшего». И вот Сушка является именно тем местом, где чернильница обменивается на вагонное стекло, медный водопроводный кран — на стопку писчей бумаги, казенные сапоги — на «частно спертый» чемодан и лисья шуба с небрежно замытым пятном крови — на частнособственническую двухстволку. Кое-что можно купить и на деньги. Но советский рубль «золотом» — неходкий товар на Сухаревке...

«Сухаревская коммерция»

О сделке шуба-двухстволка узнает через шестые руки заинтересованное лицо. Если это лицо успело к моменту сделки приобрести в сухаревских «сферах» приличную репутацию честного жулика или если природа снабдила его достаточно курносым обликом, чтобы не внушать слишком больших подозрений, то «лицо» отводится мелкими жидками в «одно место», куда одновременно другими такими же иудеями доставляется для осмотра двухстволка. Тут же назначается цена: обладателю двухстволки необходим каракулевый воротник 64 см длины, а остальное деньгами. Так, чтобы в общем вышло тысячи на три целковых каракулевого воротника у «лица» нет, но оно принесло на Сушку для сбыта немецкого производства пунктроллер, пару дамских туфель и простенький фотоаппарат. Из присутствующих жидков двое или трое (с соответствующим процентным отчислением) уполномочиваются найти человека, согласного принять пунктроллер, аппарат и туфли взамен какого-то товара, способного удовлетворить неизвестного пока обладателя каракулевого воротника. В конце концов, дня через три, когда все инстанции признают себя удовлетворенными и спрос покрывается предложением, к месту действия с обеих сторон одновременно доставляются и воротник, и аппарат, и пунктроллер, и двухстволка. Еще раз производится тщательный осмотр и того, и другого, и третьего, комиссионные жидки топчутся «на стреме»* и торопят, доказывая, что «товар висший сорт» и что — «чего тут смотреть, когда ми товар специально для вас

* Охрана места действия от непрошенных пришельцев.

вибирали!»... Лица, непосредственно заинтересованные, наконец торгуются относительно той суммы, которую полагается доплатить до трех тысяч, и товар переходит из рук в руки. Аппарат, пунктроллер и туфли переходят к человеку, который платит за них владельцу воротника старым цейсовским биноклем и двумя дюжинами тоже старых стекол от очков. Он — профессионал, представитель, так сказать, сухаревского правящего класса и считает, что нет такого товара, который не нашел бы себе сбыта: ведь вот же понадобились кому-то эти дурацкие стекла, которые пролежали у него больше года в старом кожаном кисете! О назначении пунктроллера он имеет весьма туманное представление — сначала он предполагал, что это какого-то усовершенствованного вида скалка для раскатывания коржиков и печений. Когда-нибудь кому-нибудь он его сбудет, и я не поручусь за то, что с ним будет делать его будущий хозяин: очень вероятно, что именно — раскатывать коржики... Аппарат он долго щупает, щелкает затвором и немного обеспокоен легким хрипом на выдержке в секунду.

— А чего это он хрипит? — подозрительно спрашивает он.

— Так это вы выдержку взяли, а вы возьмите момент! — настаивает обладатель аппарата.

На «момента» аппарат четко щелкает, и подозрения перекупщика утихают.

После завершения сделки комиссионные жидки, получив свои мзды, «желают быть довольными» и расходятся восвояси — основная группа покупателей заводит «частные» разговоры.

— Воротничок-то — дай те господи! Вы за рыжие пятна не думайте, сверху не видать, а что снизу — так вам что? Не навыворот носить будете!

— Ды-к, я и ничего... — уже ласково отвечает покупатель воротника. — Я его чернилом подмажу — как за новый пойдет!

— Ах, так вы не для себя!..

— Не, какой там! Куда я его пришью? На мое барахлишко такой воротник — все равно как корове седло! Я его вашему коммерческому* продам — тот для своей супружницы давно ищет. Опять же — дар за дар, а дарма — ниц!

Все понимающе ухмыляются.

— А скажите, а на какого чёрта вам эти стекла сдались? Что вы с ними будете делать? Ведь

вы даже диоптрий не знаете. Да и поцарапаны они все...

— А-а, у меня теща окулистка. Частная практика. Ей так не достать... она с Сушки собирает. Ничего — пооботрет, как-нибудь сойдет! А то ведь грех, знаете: у вас-то, я вижу, стекла новые, «пунктуаль» — из-за границы должно... А то — ходю люди — носа собственного не видать, а стекло — поди достань! У вас, я вижу, и ботиночки-то какие-то ненашенские, — помолчав, застенчиво добавляет человек со стеклами. — Тоже из-за границы должно?..

Человек, купивший двухстволку, разобрал ее и заботливо завернув в специально для этого принесенное с собой одеяло, конфузливо смотрит на кончики своих рыжих, уже пообтопанных туфель.

— Да, из Берлина... — нехотя отвечает он.

— То-то! Фашистские, значит, вроде... Хе-хе... Что — привез, должно, кто-нибудь?

— Не... Это я так... Сам привез...

— Псс-ть... — озабоченно свистит человек со стеклами. — Оттуда, значит... Что, были там, что ли? — осторожно спрашивает он.

— Был... — кается человек с двухстволкой.

На некоторое время наступает неловкое молчание. Как будто у человека с двухстволкой умер кто-то из близких и собеседники не хотят задавать бестактных вопросов. Наконец человек с воротником решается:

— Вы это... — мнется он, — приехали, значит, оттудова?

— Угу... — неопределенно мычит обвиняемый в предчувствии неловкого, уже тысячу раз повторявшегося разговора. Опять наступает молчание. Разойтись — как-то еще рано, заговорить о другом не позволяет любопытство. А спросить прямо, как же это, мол, вас угораздило — не позволяет привычная советская подозрительность.

— Значит, так сказать, у капиталистов тоже несладко живется... Народную кровь, сволочи, сосут... — подпускает человек с воротником пробного камушка.

— М-м, да-м... — неопределенно отвечает человек с двухстволкой. — Но в общем — ничего, жить можно...

— А ботиночки — ничего-с... — качает головой

* Коммерческий директор.

человек со стеклами. — Ежели такие ботиночки-то, уж жить, наверное, можно... А чего же это вы, товарищ, приехали? — напряженно спрашивает он. — Что... не знали, что ли?

— Пришлось, — вздыхает, выпрямляясь, человек с двухстволкой. — Ну что ж, товарищи! Пойдем, что ли! А то мы тут с вами...

— Договоримся! — подсказывает, смеясь, человек с воротником. — Ох, ох... Да уж пойдем, конечно!.. Делать-то что? Житье-бытье наше мышиное... А уж вы, товарищок, допекелева мы себе сами такие ботиночки заведем, может, у вас там еще кой-что из заграничного барахлишка осталось, так вы уж принесите как-нибудь! Я тут каждый день бываю. С удовольствием, так сказать, укуплю. Приносите!

— Да, могу принести кой-чего! — отвечает человек с двухстволкой. — Так сказать, остатки былого величия...

— Вот именно! Хе-хе-хе... Так, значит, покаместь!

— Покаместь, товарищи! — И человек, прижимая одеяльный сверток к боку, чтоб не бросалось в глаза, выскальзывает на улицу. На углу постовой мильтон подозрительно провожает его взглядом.

* * *

Смутные это были дни перед первым побегом. Тревожные и пустые, забытые суетливой беготней последних приготовлений и невралгическими военными советами по вечерам. На скорую руку сваренный чай по утрам расплескивали нервно дрожавшие руки, а если внизу раздавался чей-нибудь незнакомый стук, по спине ужом пробегал страх и все в доме на минуту замирало. Потом я посылался вниз сказать, что дома никого нет.

Гости не принимались. Я думаю, что это многим казалось странным, потому что раньше у нас не проходило дня, чтобы не появлялся кто-нибудь из московских знакомцев или даже полужнакомцев, у которого сегодня как раз был выходной день или который просто урвал часика два-три, чтобы провести их где-то на чистом воздухе. А по общим выходным дням наша голубятня превращалась в самый настоящий сибирский постоялый двор, на котором перманентное *va et viens* выживало порой даже самих хозяев.

В последние дни появлявшиеся гости под разными благовидными предложениями сплавлялись. Нельзя было пускать посторонних людей в квартиру, где паутина в углах и пыльный квадрат на полу указывали место, где неделю тому назад стоял старый фамильный комод, загнанный соседом на Никольского, где на столах и кроватях кучами валялось всякое снаряжение, а по полу под ногами хрустел рассыпанный порох. Мебель была наполовину распродана, печек топить было некому, а уцелевшая от повального загона посуда немойтой валялась на столах вперемежку с патронташами, смоленной дратвой, ремнями и кусками сала. Неуютной стала наша голубятня...

К тому же, наконец, уехала Тамочка. Никто ее не провожал, чтобы не возбудить подозрений: какое дело бывшему мужу и бывшему сыну до того, что куда-то уезжает их бывшая жена или мать!.. Только вечером, перед ее отъездом, мы долго сидели на упакованных чемоданах молча, каждый в себе стараясь растопить ледышку, примерзшую где-то к сердцу. Говорить было не о чем — все, что можно было сказать, было уже сказано, и мне только почему-то хотелось как-нибудь заснуть или помереть, чтобы отделаться от неизвестного и назойливо жуткого будущего. Не хотелось отпускать Тамочку. Казалось, что если сейчас вот решиться и вслух предложить плюнуть на все эти побеги, рюкзаки, отъезды и прочую жуть, то всем как-то сразу станет легко и хорошо, весело и тепло, как раньше, можно будет побежать вниз, поставить чайник, синий и пузатый, и жарить на «неприкосновенном» сале яичницу, весело поболтать, попивая кипяточек с «ландрянью», и потом, в первый раз за долгие недели, беззаботно заснуть.

Я сидел на чемодане, ковыряя ногтем мозоль от шила на ладони правой руки, и мрачно думал о том, что мне для семнадцати лет слишком уж много привалило всякой всячины. Было, с одной стороны, как-то жалковато и обидно: за что в самом деле? Потом подумал о Ване. А ему за что? Уж ему-то еще пошибче, чем мне, — у него вся жизнь так... Он сидел наискосок от меня на голый кровати, оперев свою большую, добрую голову в широкие, как тюленьи лапы, ладони, и чуть заметный сквозняк от окна шевелил на ней мягкий седоватый пушок. Серые глазки шелками, не мигая, смотрели поверх съехавших на нос очков на красный огонек керосиновой коптиль-

ки. Ладони стиснули рот, и нижняя губа как-то добродушно-добродушно отквасилась.

Думает?.. О чем думает?.. Славный все-таки парень — мой Квак!..

Какая-то перемена вдруг произошла в его лице. Глаза еще больше сузились, а нижняя губа поднялась, и ее закусил передние зубы. Лицо стало таким, что по спине пробежала жуть.

Тамочка, сидевшая рядом с ним, вдруг обняла его за плечи, посмотрела в это лицо, потом сняла с него очки и по очереди поцеловала в оба глаза.

— Ничего, Ватинька! Ничего... ничего... — только проговорила она.

Ваня обхватил ее своими лапищами и, целуя куда попало, отвечал что-то нечленораздельное:

— Ничего, Сисипапа! Ничего! Нечего дрейфить: все уладится! Свидимся еще как-нибудь!..

* * *

С отъездом Тамочки стало еще пустее. Уже не было дома, как он был раньше, был только сарай, в котором партия путешественников отсиживалась от непогоды. Вчера пришли — завтра пойдем дальше...

По утрам, выходя на крыльцо, мы ежились от морозящего, промозглого холода и с жутью думали о том, как это оно будет там — в дороге. Москву, вот уже около месяца, покрыли чугунные, непроходимо унылые тучи, и дождь моросил, моросил, моросил, не прекращаясь ни на одну минуту, временами посыпая закоченелую землю мелкой мокрой крупой и наводя безысходную тоску на все живое.

Но метеорологические сводки по Советскому Союзу, которые Ваня ежедневно доставал в московском бюро погоды, упорно твердили одно и то же: «Северо-Запад — сухо и солнечно». На метеорологической карте, ежедневно появлявшейся в «Известиях», безответственно-кривые линии всяческих течений, барометрических давлений и прочих необходимых данных старательно обходили Карелию и Кольский полуостров, концентрируясь где-то в средней полосе и вселяя в наши промокшие сердца надежду. Карелия начинала нам постепенно представляться каким-то солнечным краем, где можно будет наконец просохнуть, отогреться и даже, чего доброго, — загореть... ежась от холода и протирая очки от залеплявшего их тумана, я ловил себя на том, что

мысль о предстоящем становилась скорее радостной, чем угнетающей: будем идти, будем уставать, будет солнышко и лес, терять будет больше нечего. Только бы скорее!..

Но вместе с тем нервы постепенно начинали сдавать. Когда на кон ставится жизнь и когда она может зависеть от каждой ерундовой мелочи, эта мелочь вгрызается в совесть каждого из соучастников, и он уже не заснет спокойно, пока не добьется принятия соответствующих предохранительных мер.

Я, например, купил себе резиновые сапоги. Ирочка шла в простых коньковых ботинках, с большим запасом гетр и чулок. Я считал, что идти в ботинках по болоту — безумие. Ирочка считала, что резиновые сапоги хороши для стояния по колено в воде, но ни в коем случае не для переходов по сорок километров в день. Ирочка считала, что человек лучше всего может обходиться одним шоколадом и сахаром, тем более что в смысле походном это действительно наиболее удобный провиант. Мы с Ваней считали, что люди крупной комплекции, отмахивая в день по сорок километров по болотам, на одном шоколаде далеко не уедут и что нужны, по крайней мере, сало и гречневая каша. С кашей тоже были недоразумения: кашу без огня не сварить. Нам предстояло решить вопрос — идем мы с кострами и с теплой пищей или «бездымно», но всухомятку?

Основным вопросом был вопрос о единоначалии. Тут столкнулись лбами скаутская дисциплина и проклятый интеллигентский индивидуализм. Мы с Ваней считали, что в деле спасения своей собственной жизни в случае каких-либо вооруженных столкновений мы сами будем единственными и лучшими компетентными лицами. Мы не слишком доверяли скаутскому боевому опыту, для того чтобы гарантировать полную беспрекословность приказаниям «боевого командира». Под понятие «боевого командира» автоматически подходил Борис: он был единственным в нашей компании, который участвовал в боях, который в тех случаях, когда он видел цель, умел неплохо в нее попасть из малокалиберки и за плечами которого предполагалось наличие основательного скаутского опыта. Беда была в том, что для того, чтобы моментально ориентироваться в любом создавшемся положении, нужно было иметь по крайней мере хорошие глаза. У Бориса же вместо стекол в очках бы-

ли какие-то прожекторные чечевицы, да и в них он видел человека на расстоянии двадцати шагов. Дальше глаз не хватало, тем более — в карельском лесу, где на таком расстоянии иногда не только человека, а и медведя не различишь.

Варианты

Возможность вооруженного столкновения в лесу вообще принадлежала к самым болезненным пунктам нашей стратегии. Остервенело дебатировался вопрос о том, где именно и при каких условиях можно было рискнуть на стрельбу при встрече с пограничниками или местным населением. Вопрос этот ставился на повестку дня уже издавна, еще во времена предыдущих наездов Бориса в Москву, но удовлетворительного решения он так и не получил. Тут могли быть различные варианты. Когда приступили к детальной разработке каждого из них, выяснилось, что их может быть совершенно неограниченное количество, так что на детальную разработку вскоре просто махнули рукой. Однако наиболее вероятные случаи, я бы сказал — наиболее типичные, были все же продуманы, с тем чтобы действовать потом в зависимости от обстоятельств, но придерживаясь основного плана.

Одним из таких наиболее типичных случаев представлялась нам встреча где-нибудь в лесу, скажем — неподалеку от каких-то селений, с простым «штатским» мужичком. Что с ним делать, с таким встречным? На то, чтобы пристрелить его тут же на месте, ни у кого из нас не поднялась бы рука. Связать его, заткнуть ему рот и положить где-нибудь под деревом? Но это означало бы для него голодную смерть. Рассчитывать на то, чтобы его там кто-нибудь нашел, не приходилось. Оставались две возможности: либо отпустить его, так сказать, «на честное слово», в надежде на то, что он по возвращении своем в деревню не пошлет за нами облавы, либо — вариант, не лишенный оригинальности — взять его с собой, используя в качестве проводника.

Первый вариант отпадал почти автоматически: мы с уверенностью знали, что население всех приграничных областей подвергалось и подвергается перманентной и весьма основательной чистке от всякого рода неблагонадежных элементов. Рассчитывать на благородство души оставшихся «благонадежных» было все равно что

попросить погранзаставу переправить нас на ту сторону. Кроме того, мы знали, что местная публика получает какие-то весьма соблазнительные премии за всякого рода доносы и указания, с помощью которых ГПУ могло бы выловить такого жирного карася, как, например, нас. Рассчитывать на благородство полуголодного парнишки, да еще из «благонадежных», перед которым стояла перспектива получить за нас, допустим, куль муки?.. Нет, это отпадало.

Значит, оставалось под угрозой оружия брать его с собой. Это, конечно, очень сильно осложнило бы саму технику ходьбы, а в особенности ночлегов в лесу. Пришлось бы держать нашего «проводника» под перманентным надзором, да еще, кроме всего прочего, пришлось бы его и кормить, что при наших запасах могло обойтись слишком дорого нам самим.

Вторым из «типичных» вариантов была встреча с патрулем вооруженных пограничников, причем этот вариант усложнялся еще тем, что они могли быть в сопровождении собаки. Исход встречи в значительной степени зависел от того, кто кого заметил первым: мы их или они нас. Тут не было времени для обсуждения совместных действий, и необходимость единоначалия в этом случае признавалась всеми. Ясно было одно: открывать огонь нужно было первыми, не ожидая действий противника. Затем — опять-таки в зависимости от обстоятельств — либо молниеносно смываться в противоположном направлении в расчете на то, что среднему пограничному служаке не будет никакой охоты связываться с группой отчаянной и вооруженной публики, либо — если бежать будет некуда — залегать и завязывать длительную перестрелку, скажем — на открытом болоте, либо бросаться врассыпную, продолжая действовать каждый по «способностям». Этот же последний вариант должен был быть автоматически и молниеносно приведен в действие в случае нечаянного выхода на так называемый «секрет».

«Секретами» нас напугал мой приятель Африкан, пошедший добровольцем в части погранохраны на персидскую границу. Вернувшись как-то на побывку, он со всем подобающим в таких случаях смаком расписывал действия своих доблестных частей, привирая по крайней мере на пятьдесят процентов и изливая потоки ненависти ко всякого рода «диверсантам», «шпионам» и «белобандитам». Африкан был сыном матерого

деревенского большевика и был, казалось, скроен из той породы дерева, которая на Кавказе именуется самшитом: железное мясо и количество мозгов, исключаяющее возможность какого бы то ни было их применения.

— Секрет, — говорил он, — это так: под кустом — яма, в яме — нас двое. Из ямы далеко видать — эдак верст на десять. Идет, скажем, диверсант, под камнями ползает сукин сын, туды-сюды носом ворочает. Только нас не видеть: мы в яме. Как это он, значить, подошел версты эдак на две — ему, значить, сразу: сто-о-ой! Он туды-сюды шмыг, а я ему — расе — в задницу пулю!..

— Ну уж, Африкаша, — говорю я, — на две-то версты! И аккурат в задницу?

— А ты што думаешь! — возмущался Африкаша и начинал приводить неоспоримые примеры своей собственной и своих товарищей меткости. Но я кружным путем опять постепенно возвращался на секреты:

— Ну, хорошо, ну а если он, например, остановится — твой диверсант, так ты что будешь делать? Вас там разве не спрашивают, куда вы человека девали?

— Ка-акой человек!.. — презрительно морщился Африкан. — Ты их, брат, знаешь, какая это сволочь! С ним только одно: ложись на живот, руки за спину! А то, знаешь, — иначе с ногтями бросится! В его, сукиного сына, полную обойму всодишь, а ён все трепыхается, все тебя норовит за икру тяпнуть! Это ж такие...

Словом — «ложись на живот, руки за спину!». Ничего себе — перспективочка... После зрелого обсуждения было решено: в случае выхода на такой «секрет» кидаться без выстрелов кто куда, и при этом — мгновенно, не теряя ни секунды времени на отдавание или выслушивание каких-то приказаний. Было ясно, что кому-то из нас пришлось бы в этом случае положить свои кости на месте. Остальным, по всей вероятности, удалось бы спасти свою одиночную шкуру. О том, чтобы вновь найти друг друга в этой чащобе, не могло быть и речи. Карты были у каждого, компасы — тоже, а кроме того, в рюкзаке, на самом дне, каждый имел так называемый «неприказп» — неприкосновенный запас продовольствия, которого должно было хватить дня на два, на три. Предполагалось, что в случае полного разброда или если кто-нибудь случайно отобьется от остальных, каждый сможет, хотя и со скрипом, продолжать свой путь самостоятельно.

На вооружении у нас значилось: две двухстволки — Ванина и моя, старый бердан — у Бориса, и маленький, контрабандой провезенный мною из Германии, пистолетик типа браунинг — у Ирочки. Кроме того, на случай всяких возможных, но непредвиденных комбинаций Ирочка завела себе несколько отравленных иголок. «Выцарапать глаза», — как смеялся Борис.

Заготовка патронов была поручена мне, и я, сообразуясь со всеми бутурлинскими правилами этого мудреного искусства, а также с наличными материалами, выработал специальный, совершенно убийственный вид набивки. Из малокалиберных патронов, которых у нас, кстати сказать, было сколько угодно, выковыривались пульки и ставились в патроне двенадцатого калибра друг на дружку так, чтобы головка нижней пульки приходилась в конусообразное углубление в пятке верхней. Для разнообразия четверть патронов была набита разрезанными на дольки жаканами, но разрезанными не до конца, а только так, чтобы жакан разрывался на части уже в полете. Большой пробиваемости такая начинка не давала, но она давала сравнительно небольшой разброс, и сосны, над которыми производились баллистические опыты, принимали такой вид, будто кто-то расковырял их каменным топором. Правда, на расстоянии больше метров пятидесяти ни жаканы, ни даже малокалиберные пульки «убойного» боя не давали, но мы рассчитывали на то, что в карельских дебрях нам едва ли придется стрелять на большие дистанции. Конечно, на открытом месте и на большом расстоянии мы не смогли бы конкурировать с трехлинейкой пограничника, но зато в лесу, где за двадцать-сорок шагов и разглядеть-то ничего толком нельзя, мы имели бы все преимущества. Тем более что при наших глазах обыкновенной пулей мы рисковали и вообще не попасть, а разброс картечного заряда давал нам в этом смысле гораздо больше шансов.

Любовно заливая малокалиберные пульки стearином, я неизменно вспоминал турецкую глиняную картечь, в которую арабскими завитушками было вдавлено: «умри, неверная собака!» Мне тоже хотелось припечатать что-нибудь в этом роде сверху на стearин, но верховный совет признал это излишней роскошью...

Официально, ввиду того, что скрыть наши приготовления от соседей, хозяев и ближайших знакомых не было все-таки возможности, всем

говорилось, что мы собираемся в Аджаристан с определенными шансами застрять там надолго: на полгода, а то и на год. С этой точки зрения по-вальный загон имущества, прекращение всяких визитов и суетливая беготня по всему дому с какими-то мешками, сапогами, патронташами и прочим приобретали вполне законный характер.

Мы, конечно, не тешили себя надеждой, что, кроме хозяина и нескольких соседей, в Салтыковке о нашем отъезде не знает больше никто. Так уж издавна повелось с Солоневичами, что жители тех мест, которые мы удостаивали своим проживанием, знали о нас, о нашем семейном быте, о наших знакомствах и о наших планах едва ли не больше, чем было известно нам самим. Но Салтыковка давно уже привыкла к нашим бесконечным разъездам, знала о том, что мы каждый год по разу — а то и по два — надолго смываемся куда-то в Киргизию, Сванетию, Крым, Дагестан, что мы каждый раз уходим, груженные рюкзаками, с тем чтобы вернуться неизвестно когда, что квартира наша это время пустует и что мы каким-то образом умудряемся отстоять ее, а вместе с ней и весь хозяйский домик от национализаторских поползновений сельсовета. Несколько подробнее знало обо всем этом и ГПУ.

Но Карелия была подозрительным местом, и мы предпочитали не наводить на излишние размышления досужие мозги всякой частной и полугэпэуской мелюзги. Для широкой публики мы направлялись в Аджаристан. О том, что именно знает и чего именно не знает сама Лубянка, у нас существовали разные точки зрения, но все же все сходилось на том, что о «научно-исследовательской экспедиции» она не может не знать. Быть может, ничего не знает толком, но что-то такое она обязана знать. На Бориса никаких справок и мандатов не выписывалось, ибо это сразу бросилось бы в глаза, так что о его участии ГПУ знать ничего не могло. Что же касается остальных, то почему бы им действительно не ехать в Карелию? Мало ли всяческих полухалтурных экспедиций разъезжает по лицу земли русской? И мало ли пользы они приносят советскому государству своими случайными или строго научными открытиями, измерениями и записями? Ведь открыл же какой-то турист северные апатиты! Ведь собирают же какие-то «научные работники» целые тома фольклора, песен и ритуалов.

А заподозрить Ивана Лукьяновича Солоневича, маститого журналиста и хорошо устроенного спортивного спеца, в том, что он со всей семьей поздней осенью, да еще из Москвы собирается драпануть куда-то за границу — эта мысль могла прийти в голову только хорошо знавшим нас, самым близким знакомым. Могла она, конечно, прийти в голову и ГПУ, но это казалось маловероятным. Они там слишком хорошо были осведомлены об общественном и материальном положении Вани, но в то же время слишком плохо — о его моральных установках, чтобы предположить в нем такие сумасшедшие намерения. Впрочем...

Вот это самое «впрочем» и было тем, что нависало свинцовой атмосферой неопределенного страха над когда-то мирной салтыковской голубятней.

«Некто в гороховом»?.. Черт его, в сущности, знает, что знает и что думает этот «некто в гороховом»...

«Последний нонешний денечек»

Борис приехал в ночь на двадцать четвертое. Снаружи лил тяжелый и бесконечный дождь, и казалось, что лить уже больше некуда, что земля уже отказывается впитывать в себя воду, что скоро все поплывет, как в дни потопа, а он все лил, лил, лил... Сорок дней и сорок ночей...

Борис вошел, топя сапожищами и выливая из складок одежды целыми лоханями холодную воду. Он был весь насквозь промазан рыбьим жиром и касторкой и под дождем чувствовал себя, как танк под шрапнельным огнем. Вид у него был до последней степени походный и непроницаемый. Последняя степень бронебойности и железобетонности.

А снаружи, в темноте, лило, и слышно было, что капли шлепались уже не на землю, а просто в воду, ветер отрясал деревья, как мокрые кисти, и все пространство между небом и землей казалось одним-единственным бурлящим потоком воды и воздуха. И глупая, слепая надежда на то, что где-то в мире еще существуют сухие места, панически таяла, уступая место все нараставшей льдинке под сердцем.

Борис был похож на носорога, только что перешедшего вброд лесную реку. Он, фыркая, топо-

тал на месте, и вода ручейками стекала по костистым наростам его брезентово-носорожьей шкуры. Бесформенные очертания рюкзака, каких-то сумок и свертков, притороченных к Борису со всех сторон, делали это сходство в темноте лестницы еще более разительным.

— Ну? — спросил я его, когда основные массы воды были вылиты и когда прекратился шум трущихся друг о друга брезентовых поверхностей.

— Ну-ну! — отвечал он. — Когда едем?

Он попытался было приветственно меня облапить, но я был полугол и отрицательно расценил всю неравноценность таких объятий.

— Наверно, завтра...

— Когда это — завтра? У меня времени, как говорится, вот-вот! Нужно смотаться до света, чтоб, как говорится, петухи не заметили. А у вас — что? Ничего, конечно, не готово?!

— Это как сказать! Кое-что все-таки готово, — сыронизировал я. Если что-нибудь и могло быть готово — так только у нас. Но Борис был невысокого мнения о нашей расторопности.

— Документы в порядке? Оружие в порядке? Билеты есть? — спросил он таким тоном, как будто был совершенно уверен в том, что ничего, конечно, не готово, и был в отчаянии — что с нами, такими, делать.

— Ну-ну-ну, — запротестовал я, — ты уж, браток, того, это самое... Да ты, впрочем, катись наверх, чего мы тут с тобой будем топтаться. И потом ты — тише! Ваня заснул, кажется, всего час тому назад, а завтра еще кое-что предвидится. Пусть его — отоспится!

Ваня, впрочем, так и не спал. Или, может быть, его все-таки разбудили. Он вылез на поверхность в чем-то весьма невыразимом, что после объятий с Борисом пришлось сразу же переменить.

— Э-э, братишка, да я вижу, ты совсем насквозь! — заявил Ваня, когда ему за пазуху протек ручеек из Борисова капюшона.

— Не-ет. Меня совсем насквозь трудно! Килограмм рыбьего жира и полкило касторки! И все по Ирочкиным рецептам. А вы не промазались разве?

— У Вани резина, а у меня кожа, — ответил я. — Впрочем, и кожу бы неплохо промазать. У тебя не осталось?

— Есть еще грамм двести. Только касторки. Тебя не стошнит? Бери прямо на ладонь и три дондеже. Только это здорово утяжеляет: вот на попробуй!

Он подал мне свою шкуру, которая действительно весила этак килограммов под десять. Я хотел было запротестовать против такой тяжести, но потом вспомнил, что если бы Борис нашел, допустим, рыцарские латы — он и их бы надел: что ему там какая-то пара лишних пудов!

— А Степушка как? — спросил Борис.

— А Степушка — ничего! Дрейфит только и носом все хуже и хуже чмухать стал. Я думаю, его в лесу за версту будет слышно.

— Как твоя командировка? — спросил Ваня, натягивая носки и жутко морщась. Он всегда морщится, когда делает какое-нибудь, даже самое маленькое, усилие. Чиркает спичку — морщится, надевает носки — морщится.

— На два дня. Но начальник орловского ГПУ сам на неделю уезжает, так что даже если запоздаю — все равно некому заметить будет. Но мне важно, чтобы за два дня выйти из пределов досягаемости: черт его знает, еще вернется чего доброго! А ведь у них радио и в два счета поймают: побег! Во всяком случае, я хотел выйти сегодня еще до света. Так, чтоб ваши многоуважаемые кумушки не особенно присматривались — кто и что.

— Так зачем тебе уходить? — удивился Ва. — Сиди себе, кто тебя здесь увидит! А Ирочка будет в десять, вероятно, с билетами, так вот и попрям тогда сразу. А то — куда ты денешься! И где тебя потом искать?

Несмотря на протесты Бориса, я лег досыпать то, что мне полагалось по штату. Я пошел в другую комнату и оставил их вдвоем решать мировые вопросы. В комнате было бы темно, если бы не широкая щель в дощатой перегородке. Щель была под самым потолком, и в нее лился золотистый свет от большой керосиновой лампы в соседней комнате. Свет широкой полосой падал на дощатый потолок и заливал комнату золотыми сумерками цвета луковичной кожуры. И потолок почему-то вдруг стал таким невероятно уютным. По нему вдоль досок елочкой бежали совсем красные сучки, будто кто-то тонкими и длинными ногами пробежал взад-вперед по потолку. Пробежал этак манерно, носками в стороны, и юркнул куда-то в одну из широких темных щелей в стеновых бревнах... У него были, видимо, очень длинные и тонкие ступни, наверное, на тоненьких-тоненьких ножках. Может быть, это был домовый или кто-нибудь из этой компании... Во всяком случае — существо положительного характера. Засыпая, я вспоминал, сколько раз и в каких са-

мых разнообразных настроениях я вот так же лежал на этом же самом месте и тоже смотрел на эти сучки, и тоже представлял себе домового — маленького, на тоненьких ножках, бегущего шлепающими шажками, вниз своей яйцеобразной головой, из щели в щель, поперек всего потолка. Когда мы сюда приехали — это было в двадцать шестом году... Тогда снаружи тоже лил дождь, света не было, и Тамочка долго плакала. Мебели тогда тоже было очень мало — почти как сейчас. Думал ли я тогда, что вот буду лежать сегодня в последний раз и буду смотреть на те же сучки... И что завтра тю-тю... прощай, Москва... Тогда, конечно, не думал: а что будет потом?

Чего это я вот сейчас не думаю? Вот смотрю на сучки, на следы домового и не думаю, не представляю себе, когда теперь в следующий раз и в каком настроении буду на них опять смотреть... Да и буду ли вообще? Конечно, очень мало вероятно. Но... Чем черт не шутит? Ведь не думал же я, что снова вернусь из Берлина сюда. А судьба, она — дура-баба!

Я закрыл один глаз и подмигнул сучкам. Они покосились. В углу, под потолком, в том месте, где раньше висела икона, которая теперь была где-то в Германии с нашими негативами, зашевелилась паутина, и из щели в бревне показались сначала чьи-то длинные и тоненькие ноги, а потом и весь домовый вылез наружу. Он стал на краю потолка вниз головой, подозрительно огляделся, повел носом и, осторожно ступая в свои старые следы, чтобы не наделать, чего доброго, новых, зашлепал поперек потолка...

VI

Malborough s'en va-t-en guerre

Рюкзак был явственно слишком тяжел. Даже мои телячьи ремни, широкие и мягкие, пережимали где-то в плечах какие-то артерии, голова наливалась кровью, и казалось — вот-вот лопнет. Идти приходилось согнувшись, и мы скорее походили на волжских крючников под пятипудовыми кулями, чем на вольных бегунков. На протяжении первых же ста метров по сиротливой досочке салтыковского тротуара стало ясно, что выкинуть придется половину, если не больше. В уме начали прикидывать — что именно можно будет выкинуть без слишком большого ущерба.

Салтыковские обитатели большими глазами

проводили странную процессию, гуськом растянувшись по единственному проходимому в Салтыковке тротуару-шоссе Ильича. Впереди, гордо держа свой увенчанный золотыми косами классический профиль, шествовала Ирочка. На ней, согласно диспозиции, был маленький рюкзачок, аптечная сумка, бинокль и еще какие-то привески. Но в общем — она имела возможность гордо держать свой профиль. За ней — согбенный в бараний рог Степушка, с рюкзаком средней величины, флягой и залитыми потом половинчатыми очками. Очки — на веревочке.

Потом — я. На мне — мой пресловутый рюкзак, набитый до отказа, полевая красноармейская сумка, три патронташа, замаскированные одеяльным свертком, разобранный двухстволка, завернутая в простыню, с высывающимися для камуфляжа кончиками удочек, резиновые сапоги и очки. Очки тоже залиты потом и тоже на веревочке. Для гордого вида у меня нет ни оснований, ни возможности.

За мной — Борис. Борис — как было сказано выше — весь в брезенте и в касторке. Если на нем и есть какой-то рюкзак, то для постороннего и непосвященного взгляда это незаметно. Рюкзак его, правда, в два раза больше моего, но он сидит на нем как хорошо сшитый фрак и как будто составляет с Борисом одно неразрывное целое. Какого-либо неудобства от наличия на своей спине пяти пудов посторонних предметов Борис не ощущает. Он похож на небольшую самостоятельную танкетку на прогулке. Очки на нем совершенно сухие, а из толстопузого кармана боковой сумки торчат футляры еще трех запасных пар. Его берданку сложить не удалось, и она торчит над ним этаким вымпелом, возбуждая в наших сердцах всевозможные опасения. Очки на Борисе воинственно блестят, и вообще он, видимо, не очень заботится, чтобы его не заметили петухи.

Шествие замыкает Ваня. Ванина поклажа не уступает размерам Борисовой, но сидит она на нем как на корове седло, болтается из стороны в сторону и грозит натереть ему такие волдыри на разных местах, что потом его хоть в лазарет помещай. Как я ни старался приспособить его рюкзак к ношению на человеческой спине — все мои рационализаторские усовершенствования пропали даром: пряжки, нашитые в разных местах, остались без употребления, уширенные ремни зависли в колбаски и стали еще уже, чем были

раньше, а если посмотреть на дядю Ваню в профиль, то был явственно виден какой-то острый предмет, которым рюкзак всей своей тушей упирался в Ванину спину. Очевидно, напоследок было запихано еще что-то совершенно необходимое, что и испортило всю строго научную систему упаковки рюкзака... Кроме того, рюкзак был старый и заслуженный и ежеминутно грозил лопнуть по шву, а так — по живому мясу, во всю объятную ширину сразу.

Но консерватизм — одна из основных черт Ванюного характера. Старый друг — лучше новых двух. А кроме того — все это мелочи жизни! И рюкзак грозно болтался из стороны в сторону на своей остроконечной точке опоры так же, как он болтался в Сванетии, Дагестане, Киргизии и еще в десятке других мест...

Ваня шагал сосредоточенно, и на лице его были написаны всякие проклятые вопросы. Не забыли ли чего? Не посеяли ли? Как оно будет в поезде? Как бы кого не встретить... Все ли печати проставлены? До чего еще не додумались?

Те же мысли были и у меня, но в какой-то скорее абстрактной форме: забыли, ну и черт с ним — не ворочаться же! А насчет будущего я предпочитал вообще не думать — там будет видно, чего заранее голову ломать!

Что думала в тот момент Ирочка — трудно сказать. Она сегодня утром в последний раз перецеловала своих ребятишек... Быть может, она со всей своей скаутской силой воли выкинула эту мысль из головы и старалась ни о чем вообще не думать. Может быть... На ее холодном, мраморном профиле было абсолютно ничего не прочесть.

Со Степушкой дело обстояло ясно и просто: он попросту дрейфил и через силу сдерживался, чтобы не сесть на землю вместе со своим немецким рюкзаком и вместе со своими мечтами о тихой эстонской деревушке... Лицо его было сплошное страдание: от страха, от тяжести, от мрачных предчувствий, от веревочки вокруг ушей, по которой пот стекал на оглобли очков и капал на морщинистые щеки. Жалко было Степушку. Вблизи — жалко, а издали — смешно.

И только Боб был в полном присутствии духа. Поход начался, и мировые вопросы шли автоматически ко всем чертям. Перед ним во всей его ясности и простоте стоял джеклондоновский лозунг: «Где бы вы ни были — держите на запад!» Какие тут могут быть вопросы? Если по дороге

встретится болото — через него нужно перебраться. Если встретится чекист — чекиста нужно угробить. Если жрать будет нечего — можно будет ползти хоть на четвереньках. Но ползти на запад, на запад и только на запад!

Москва — Суна

День побега наступил так же неожиданно и просто, как наступает последний день осужденного на казнь человека. Казалось странной нераспорядительностью со стороны небесной канцелярии, что в этот день лил дождь так же, как и во все остальные, обыкновенные, дни, что ничто не грохотало и не содрогалось в pendant к тому историческому событию, которому было суждено в этот день совершиться. Уже в поезде я сообразил, что этим только подчеркивается вся величавость всякого рода грандиозных событий — будь они грандиозными в масштабе миллионов сердец или всего только навсего в масштабе одного маленького сердца: они происходят обычно не под грохот Везувия, и чинуши из небесной канцелярии не успевают даже проникнуться всей их значимостью. Нарочито обыденно сыплет серенький дождик, а ежели сердцу хочется лопнуть — так какое до этого дело бумажной душонке из небесной канцелярии!..

Колеса стучали, как они всегда стучат, с нарочитой бесстрастностью сибирских конвоиров, которые не в первый уж раз ведут арестантов и которые уж многое видели... Некоторые приписывают этому стуку какой-то сарказм, какую-то иронию над человеческой судьбой. Но мне кажется, что колеса везде и всегда стучат одинаково, с той только разницей, что в России к их стуку примешивается еще звон разболтанных костылей, что делает этот стук ещё более усыпляющим.

До Ленинграда, набившись с поклажей в одно купе, ехали ночь. Публика, заглядывавшая к нам из прохода, испуганно убирала головы обратно, соображая, очевидно, что купе отведено кому-то важному, не поддающемуся уплотнению. В проходе сквозь разбитое стекло на ходу захлестывал дождь, поливая какую-то примостившуюся на чемодане женщину. Женщина жалостливо прижималась к стенке, придерживая одной рукой соломенную шляпку. Влетавшие снаружи капли дождя падали на измятую матер-

чатую розу на шляпке и на худенькую руку с синими жилками. Но женщина сидела согнувшись и прижавшись к стенке, боясь уступить место, отвоеванное себе и своему чемодану. Остальные стояли, отжимаясь от окна, и мерно, всей массой, покачивались в такт колесам.

Когда основные разговоры были кончены, Ваня вышел в коридор и пригласил женщину к нам. Она удивленно подняла голову, нерешительно привстала и схватилась за ручку чемодана. Ваня взял чемодан и с видом начальника поездной бригады внес его в купе. Та молча последовала.

— Вот спасибо-то, вот спасибо-то... — жалконьким тенорком причитала она. — А то смерзла совсем, смерзла совсем... — И так же робко, как будто все это было во сне, села на предложенное ей Ваней место, сжалась в комок и как будто бы заснула. Ваня вышел в коридор покурить. Я еще некоторое время посмотрел на согнувшуюся фигурку в черной соломенной шляпке со взмокшей розой, заметив, как она зябко, украдкой засунула измерзшую руку в рукав, а потом, кажется, заснул, потому что дальнейшие воспоминания начинаются уже с Ленинграда.

Ленинграда, в просторечии так и оставшегося Питером, я, в сущности, не знаю. С ним у меня связаны какие-то тусклые, спекулятивного характера воспоминания детских времен. Последний раз я видел крыши его домов, сидя на дне гэпэуского грузовика.

Но это было намного позднее. Пока что Питер принял нас в зале ожидания Московского вокзала невероятной сутолокой, морковным чаем из вокзального буфета и странной химической смесью из окурков, плевков и просто уличной грязи на своих, бывших когда-то паркетными, полах. По краям полы были устланы спящими, пьющими тот же морковный чай и ожесточенно переругивающимися телами неведомо куда едущих и неведомо откуда взявшихся советских пассажиров.

За пределы этого вокзала я так и не попал, потому что был оставлен в качестве почетного караула на куче наших пожитков, и только из чистого любопытства отважился отбиться шагов на десять до ближайшего огромного, до самого потолка, зеркала. Удовлетворенный своим бронетанковым видом, в кожанке, в сапогах и сверх всего этого — в брезентовом милицейском плаще, я вернулся обратно к пирамиде рюкзаков и

так на ней и просидел до отхода дальнейшего поезда в Мурманск.

Тут было менее набито, но до Званки поезд топтался по каким-то тупикам и закоулкам, будто там, в Званке, его ждала по крайней мере суровая порка. Основным занимавшим нас вопросом была та граница, с которой начиналась обетованная московскими метеорологами сухая погода. Часы проходили, с ними вместе проходили и километры, и градусы широты — не проходил только дождь, который с самого Питера заладил уже несколько бодрее, чем в Москве, а к Званке принял совсем угрожающий оттенок. На переходах из вагона в вагон, сквозь рваные гармошки соединительных перекрытий, он злобно хлестал ядовитыми струйками, сыпал жемчужным горохом в стекла и заливал наши души холодной и мокрой жутью...

«Небо плачет, — думал я, угрюмо похаживая по полупустому коридору. — Над кем плачешь?.. Над нами?»

Дальше мои рассуждения не шли. Было ясно, что дожди в Карелии меняли положение вещей на все сто восемьдесят градусов в паршивую сторону.

Но в то же время было ясно, что возвращаться назад совершенно немислимо и что значит переть придется и по дождю. Расписывать самому себе все преимущества такого хода не имело никакого смысла, и я предпочитал не заходить слишком далеко во всякого рода предвкушениях. Думал об Абрашке и о той открытке, которую я ему напишу из Гельсингфорса. С вещественной живописностью представлял себе уголки Абрашкиного рта, на которых от злости будут выдуваться зеленоватые пузырьки слюны. Думал о том, как будет реагировать Оська. Тот, наверное, будет и рад, и горд: он всегда говорил, что «из хлопца выйдет толк». Потом думал о Финляндии, причем констатировал, что никакого понятия о ней не имею; о границе, о лесе, и наконец ловил себя все на том же дожде, после чего снова возвращался к Абрашке. Так время прошло до самого вечера, когда мы, наконец, доползли до Званки.

В Званке в вагоне появился какой-то патруль. Патруль проверял документики. У меня документиков была такая уйма, и все они были снабжены такими убедительными печатями, что патруль, истратив на свои большие и указательные пальцы весь наличный запас

слюны, потоптался, взял под козырек и ушел. Потом пришли какие-то бабы с ведрами и щетками, презрительно подоткнув юбки, отдали свой халтурный долг санитарии и гигиене и тоже пошли прочь. Потом мы простояли часа три, неизвестно для чего «пуская пары» и время от времени перепихиваясь то на метра два вперед, то на метр назад. Потом поехали дальше и облегченно перекрестились, потому что предполагалось, что если «некто в гороховом» что-то знает, то практическое применение своим знаниям он найдет именно здесь, в Званке. Но Званка была уже позади, мы перекрестились и вздохнули свободно.

* * *

Проскочив живьем через Званку, поезд внезапно весело запыхтел и покатился так, будто и для него самое худшее осталось позади. С рискованным задором почуявшего волю старого мустанга он лихо влетал в повороты и перелески, оглашая пугливые деревушки своим металлическим ржанием и жалобным стоном истрепанных шпал и костылей. На стыках он мягко пружинил, создавая впечатление, будто рельсы держались на шпалах одним божьим промышленлением и приподнимались с другого конца, когда он наезжал на стык. Вагончики веселой оравой прыгали вперегонку, как комки пестрой бумаги в хвосте воздушного змея. Одним словом, поезд вёл себя весело и непринужденно.

Часа в два ночи он сделал у Петрозаводска легкую передышку, должно быть на водопой, попыхтел, поскреб копытами землю и покатился дальше. Мы в купе спешно доедали последнюю оставшуюся в живых торгсиновскую курицу, взятую с собой на предмет восстановления организмов перед последним и решительным боем.

За железнодорожный отрезок пути наши рюкзаки немного сбавили в весе: было съедено четыре курицы, баранья нога, неопределенное количество хлеба и целая банка масла. Кроме того, в окошко были выкинута зубные щетки, признанные излишней роскошью, Степушкина карманная счетная машинка, без которой он, по его утверждению, не мог существовать, и еще кое-какая ни в чем неповинная мелочь, заподозренная в излишнем весе. Перед верховным трибуналом по очереди

представала каждая пуговица, каждая ниточка нашего обмундирования, где она подвергалась строжайшему рассмотрению на предмет своей жизненной необходимости. Но никакие строгости не помогли, помимо изъятия четырех кур и бараньей ноги, рюкзаки как были, так и остались «недорезанными».

Часа через два после Петрозаводска предполагалась по расписанию станция Суна — последний форпост цивилизации, за которым начинался пеший и полупеший вид хождения и за которым ошибка московской метеорологической станции приобретала все свое практическое назначение. А в том, что московская станция ошиблась, теперь уже не могло оставаться никакого сомнения: дождичек лил, как будто никаких метеорологических станций в мире и не существовало, и нам только оставалось удивляться собственной наивности: как это мы, со всем нашим советским опытом, могли предположить отсутствие халтурных наклоностей у обыкновенных смертных советских метеорологов? Неужели можно было представить себе, что они действительно каждый день при составлении своей карты справляются в какой-то там Карелии о существующей там погоде?

Но рвать на себе волосы было бесполезно, и потому мы сконцентрировались на том, чтобы не прозевать станции Суна. Поезд по расписанию должен был простоять там три минуты, но расписание расписанием, а факты фактами. Ваня провел последние два часа в коридоре, поминутно высовываясь в окно и тщательно глядя ваясь в огоньки пробегавших мимо полустанков. Когда, наконец, он вошел в купе, заявив, что Суна на носу, пух на его голове слипся и по вискам стекали за шиворот струйки воды.

— Вытрись, Ва, а то еще простудишься чего доброго! — сказал я, протягивая ему носовой платок.

— Ни черта! Тащи свои манатки, а то не поедем! Три минуты ведь только!

В это время поезд как-то обмяк, как будто из него вынули спинной хребет, и стало ясно, что подъезжаем. Колеса заскрипели, и поезд стал у какой-то полuosвещенной платформы с одинокой фигурой начальника станции под фонарем. Мы стали спешно выкидываться.

Суна

Начальник станции был в высшей степени удивлен нашим появлением. Нас он заметил только после того, как поезд тронулся, и, саркастически моргая красным глазом, этакой баскервильской собакой исчез в тумане. После шумового оркестра лязгающих колес и костылей мы внезапно очутились в густой тишине и мгле сизого тумана, накрывшего платформу и станционную конуру пушистым комом гигроскопической ваты. Остального мира не было: был только небольшой освещенный круг платформы, кусок конуры, фонарь и какой-то нелепый вопросительный знак вместо начальника станции.

Он стоял, недоуменно расставив ноги в широких лаганных штанах, выставив вперед голову, и его маршалский фонарь растерянно повис в его руке. Все в начальнике станции было недоуменным. Ему, видимо, за всю его долгую службу ни разу не приходилось видеть живых существ, покидавших на вверенной ему станции пронесившиеся мимо поезда. Он даже, по-видимому, вообще не верил в такую возможность... И теперь стоял, недоверчиво вглядываясь в туман, пока мы со всем нашим скарбом не появились в освещенной полосе.

Немая сцена, почти как в театре: тишина, тьма, во тьме — фонарь, выступающая из мрака бревенчатая стенка станционной халабуды и засывшая в немом удивлении фигура начальника станции. Перед ним, в трех шагах — живописная группа неправдоподобных существ в рюкзаках...

— Э-э... Товарищ начальник, мы... — нарушил, наконец, тягостное молчание Ваня и стал пояснять товарищу начальнику, кто мы такие и что нам от него нужно. Нужно нам было немного: место, где бы мы могли дожидаться утра, с тем чтобы потом найти в деревне лодку, на которой могли бы подняться вверх по реке Суне до водопада Кивач или до Сунозера. Немая подозрительность начальника станции была, наконец, сломлена хитроумно-стратегическим заявлением Бориса, что «неплохо было бы разогреться», причем Борис побулькала в воздухе синей эмалированной фляжкой с торгсиновским спиртом. Вся неловкость создавшегося положения моментально растаяла в окружающем тумане, и начальник, махнув фонарем, пригласил нас внутрь станционного здания.

Там была комнатенка метров пять на пять, с примыкающей к ней служебной закутой самого начальника. В закуте стояли большой керосиновый фонарь, столик с телеграфом, табуретка и жестяная буржуйка на трех ножках. Буржуйка топилась, давая своими раскаленными боками больше свету, чем сам фонарь... Зато фонарь, по-видимому, призван был исполнять ее, буржуйкины, отопительные функции. От него кверху шел столб копоти и теплого воздуха, придавая помещению вид обжитой самоедской юрты. Буржуйка же действовала на короткую дистанцию — всего лишь на два шага. В трех шагах, ближе к стенке, уже пронизывал космический холод, проникавший ехидными струйками из каких-то невидимых, но вездесущих щелей.

Места в закуте оказалось достаточно, чтобы хлебнуть «вкруговую» из кружки с разбавленным спиртом, но когда мною было выражено желание немножко прилечь до окончательного утра, мне ничего не осталось, как постелить свой миллиейский плащ в основном помещении — в комнате пять на пять, на полу, в котором щели занимали безусловно больше места, чем доски. Минут через пять ко мне присоединились и Ирина со Степушкой, а еще через полчаса расположил подле нас свои ароматичные причиндалы и сам Борис. Ваня остался вести душевные разговоры с товарищем начальником. Время от времени до меня доносилось чье-то ожесточенное чихание. Только я не мог толком разобрать, кто именно чихал: Ваня или начальник. Чих был остервенелый и каждый раз по-разному. Быть может, чихали оба...

«Ведь простудится, обормот! — думал я, задремывая в ложбинке между Степушкиной спиной и выдававшейся из полу балкой. — Хоть вытерся бы...»

* * *

Утро раскрыло перед нами панораму карельского болота во всей его красе. Туман, смешиваясь с дымом стоявшей неподалеку деревеньки, устилал кочковатую равнину белесыми простынями. Из него, как из наводнения, там и сям выглядывали верхушки низкорослых болотных сосенок. Разбредшимся стадом плыли по нему гонтовые и камышовые крыши карельских изб, и железнодорожная

насыпь с горбатым черным мостом тянулась от края до края, утыкаясь на горизонте в черный зубчатый хребет далекого леса. Под мостом туман тек густой струей, расплываясь по долине конденсированным молоком в блюдце чая. Там катила свои серые воды неширокая холодная речка с таежным названием Суна.

В деревеньке улицы расстелились необъятными грязеёмами, шириной сажень в сорок каждая, а по сторонам далеко друг от друга стояли громадные серые срубы карельских изб, и кулаком пахло от каждой из них. Места у карел — слава Тебе, Господи! Лес — оно видно по бревнам, какой тут лес. Стоит такая избенка из аршинных бревен сотни лет, пока не сгорит. А так, чтобы без пожара сгнила или рассыпалась — такого и не бывает вообще...

Но цивилизация и сюда уже добралась. Где-то невдалеке из пелены тумана торчит длинная жердь, на жерди — мокрой тряпкой флаг, бывший когда-то красным. А в конце улицы, в самом фарватере, устрял в грязи остов потерпевшего крушение трактора. С него сняты какие-то, очевидно наиболее ценные, части, а на ржавом баке спереди верхом восседает местного происхождения карапуз в кожаных пьексах. В руке у карапуза кнутик, и он писклявым баском на неизвестном мне наречии отдает приказания двум своим современникам. Современники по поясу в грязи, сдвинув ушатые шапки на белобрысые затылки, что-то копошатся у задних колёс трактора. Очевидно, вспоминая те далёкие времена, когда взрослая часть населения занималась тем же самым — пыталась вытащить увязший трактор из пикового положения на сушу.

Мы бредем, точнее лавируем, по улицам, сообщаясь с указаниями начальника станции. Без сельсовета здесь не обойтись: нам нужна лодка, лодка принадлежит какому-то мужику, а мужик принадлежит сельсовету. Надо сначала испросить «хозяйского» благословения. Сельсовет, очевидно, там, где красный флаг. На флаг мы и держим курс.

Останавливаемся перед огромной черной избой с треснувшей бурой звездой над низеньким входом. Под звездой — штуки три доски с объявлениями, постановлениями и показателями. Все это под извечным дождем давно уже утратило последнюю степень читабельности. Уголки у бумажек ободраны — должно быть, на сигарки. Кое-где ободрана и целая половина — очевидно,

что-нибудь старое, уже тридцать раз прочитанное: зачем добру зря пропадать!

Ваня пытается влезть в низенькую приземистую дверь, но, зацепившись рюкзаком о косяк, хлопается обо что-то лбом и, богохульствуя, задом пятится обратно. Потом оставляет свой рюкзак в сенях и следует внутрь. Минут через десять он снова появляется в сопровождении лебезящего председельсовета. На председельсоветов всего мира Ваня имеет какое-то чарующее действие: ни один из них не отважился ему когда-либо в чем-либо отказать, и наоборот — каждый из них после краткого задушевного с ним разговора из кожи вон лезет, чтобы как-нибудь быть ему полезным. На председельсоветов у Вани есть специальная натаска: душу председельсовета, все его мысли, все его мечты и опасения Ваня знает, как хороший полководец — душу, мысли и опасения своего солдата. И потому ему от председельсоветов никогда отказа нет. Лодка для нас была готова через полчаса!

Везти нас взялся некий, карманного формата, мужичок с рыже-льняной бороденкой, в «поршнях» и онучах. В качестве бесплатного приложения мы получили в компанию такого же карманного типа и такую же рыже-льняную собачонку, которая крутилась, носилась и тьякала, развивая по поводу радостного события бешеную энергию. Ее, очевидно, не в пример другим благословенным местам, еще как-то кормили. Впрочем, несколько позже мы имели возможность убедиться в том, что на севере коллективизация псов не коснулась: наша тьявка, следуя всеми четырьмя лапами вслед за лодкой по берегу, время от времени подымала дикий гвалт, причем хозяин, прислушиваясь, уверенно говорил: — Жабу нашла! Это так — простое! А вот теперь — белку! Эх, жаль, берданки нет», — при этом он косо посматривал на берданочный ствол, на аршин, торчавший из рюкзака Бориса. Один раз задорный лай тьявки перешел в истошный визг, причем наш Харон немедленно повернул лодку к берегу и принял на борт изо всех лап спасающуюся животину.

— Ты кого там? Говори! — строго воззрился он на дрожавшую и ошетинившуюся собачонку. — Волка, что ли?

Собачонка оглядывалась на хозяина, деланно улыбалась, вертела хвостом, но потом снова возвращалась к занимавшей ее проблеме: в кустах на берегу был кто-то страшный и ненавист-

ный, которого теперь, сидя в безопасности, посреди реки, необходимо было покрыть нехорошими словами.

Лодка была длинным, плоскодонным сооружением, черным от времени и набухшим от воды, с ивовыми кольцами вместо уключин и без скамеек. Приняв в себя шесть человек с пятью рюкзаками, она погрузилась по самые борта, рискуя ежеминутно зачерпнуть мутную ледяную воду. Рюкзаки были положены на дно и прикрыты сверху чьими-то плащами. Публика разместилась кто куда — по бортам, на кормовой ящик и, наконец, просто на дно.

Принимая во внимание законы равновесия, на дно посадили Ваню с Борисом, а которые полегче, могли сидеть повыше. Ирочка изображала кормчего, пока окончательно не вывела из себя нашего мужичка.

— Да ты в струю держи, в струю, барынька, — сдерживая яростные нотки в голосе, говорил он. — Не вишь, што ль, вертени спереду, што ж за дарма силу-то тратить!

Барынька силилась держать «в струю», но тяжелую ладью все время сносило на сторону, и тогда мужичок начинал яростно загребать веслами, выправляя лодку против течения.

— Тута дело моментальное! — говорил он, объясняя свой отказ от Ирочкиной помощи. — Тута момент и тюк тебе! Потом имай лодью, наспротив-то! А мне еще верстов пидисят седня! Барыньке сидеть, а карелу — гребсти. Э-тка?!

Река то разливалась до огромной ширины, то стекалась в узенькую щель между «сельгами» — каменными обвалами. В таких случаях все живое из лодки вылазило на берег и помогало мужичку вытягивать ее на волоке по порогам. По берегам — лес дремучий и грозный, кормящий и убивающий, укрывающий и предательский, такой, каким он был в первый день творения, и тысячу лет тому назад, и сегодня, и каким он бог его знает сколько еще времени проживет... В три обхвата великаны завалились поперек реки, река нанесла сюда всякой дряни — корни, ветки, целые стволы и бревна со сплава, мох виснет над головой, когда проплываешь под берегом, да такой мох, что будто сам леший свою бородишу в воде мочит...

Временами наш возница оглядывался куда-то вдаль на берег, указывал на что-то пальцем и говорил:

— О-о-о-вон береза стоит!..

Березы кругом было много, так что наличие еще одной лишней на нас никакого впечатления не производило. Но все же мы полюбопытствовали:

— А что с ней такое — с березой вашей?

— Эк! — досадливо отвечал он. — Что с ей! Корела она! Таких — одна на тыщу, может, есть, а может, и нет ее!

Мы посмотрели на «корелу» и ничего специального в ней не заметили. Береза как береза, ничего особенного...

— Ах, так это, верно, карельская береза, — надоумилась Ирочка.

— Карельская, карельская! — закивал мужичок. — За ее, за цельную, в Петроводске мукой плотють. Привез куб — на те куль!

— Ну-у! — удивились мы. — Так чего ж вы не возите?

— Ты как ее повезешь! Нам в Петроводск не можно... Сиди не гуляй, инак — в лагерь возмуть... Нам все в Кореллес сдавать сказано, на них в лесу и работаем. Сельсовет возит, а нам — не, не можно!

Скоро мужичок снова принял на борт свою тязку.

— А щас Вороново будет, — пояснил он. — Там свои псы — нашим нет пуску. Иди, иди, кудлявка! — И он для большей убедительности заговорил с ней на местном диалекте.

К вечеру, когда закатывающееся солнце на несколько минут вставило свои щупальца в узкую щель между тучами и землей, за излучиной реки, разбросанное по нескольким холмам, показалось село Вороново. Здесь предполагалось устроить ночевку с картошкой в мундирах. Картошку нам обещал наш чичероне и гондольер.

Дальше...

Вороновские воспоминания ограничиваются грудой дымящейся картошки в мундире и древним старцем, слепым и белым как лунь. Старец тихо и горделиво сидел на кованом сундучке в углу избы и так, кажется, просидел всю ночь, не шелохнувшись и не вымолвив ни одного слова. Наутро я нашел его все в том же положении и с тем же благобно-гордым видом. Что-то родоначальное струилось из старца, и мне по этому поводу вспомнилась

марксистская история классов с патриархальным строем, «печищами» и «домищами». Вороново было бы в этом отношении типичным «печищем», если бы не сельсоветские ребята, с наганами на боку разгуливавшие по селу и подозрительно оглядывавшие и обнюхивавшие нас.

Утром тронулись дальше. С лукавым видом профессиональной русалки, заманивающей путника подалее в болото, выглянуло солнышко, залив неприглядную северную пустошь розовато-желтой акварелью. Казалось, будто здешнее солнце вообще не солнце, а только его тусклое отражение в этих серо-белесых небесах. Настоящее солнце было где-то на южном полушарии, а здешние места освещались отраженным светом, матовым и спокойным до унылости...

Впрочем, дождь скоро снова пошел, а река, демонстрируя нам все свои возможности, повела нас сквозь настоящие, каменноугольного периода, карельские болота. Берега странно терялись в хлипких плавучих торфах, на которых тут же, над водой, росли тоненькие и корявые дегенеративные сосенки. Суша, в общечеловеческом понимании этого слова, куда-то пропала, уступив место плавучим кочкам, рыжей болотной жижице и завалам нанесенных рекою лесных гигантов. Было что-то доисторически мрачное в этом низкорослом пейзаже, и фантазия, за неимением ничего лучшего, принималась за всякие дикие картины. Вот вылезет сейчас за поворотом реки из болотного торфа длинная тонкая шея с маленькой головкой... С нее будут свисать мокрые корни и водоросли, а из ноздрей голова будет «пущать» фонтанчики воды... Потом шея с усилием изогнется, и за ней последует из воды огромная, многосаженная черная спина... Со спины будет сливаться вода, и большими кругами пойдут от нее волны... Таежную тишину разобьют плеск воды и пронзительное сопение животного... Наверное — дипломодок!.. Тогда нужно будет поскорее смываться в береговые заросли, пока не заметил...

Впрочем, дипломодок не спешил появляться, уступив свое место чему-то если не более страшному, то, во всяком случае, более реальному: над лодкой стали виться густые тучи запоздавших осенних комаров, жаливших человека со всей отчаянностью своего безнадежного осеннего положения. Это были глупые, неученые комары: у них не было еще осторожности и изворотливос-

ти их салтыковских соплеменников, и они садились куда попало, жалили изо всех своих маленьких сил и мерли тысячами под ударами вращающихся пропеллерами ладоней. Своей безграмотностью они были страшнее увертливых салтыковцев: с их стороны это не было отвагой, против которой еще можно принять какие-то меры, это было просто глупостью, фатальной глупостью, против которой защиты нет... Им не было конца, они не щадили своих жизней, и их ничто не могло утратить: они не ведали, что творили... Их пригоршнями сгребали с лиц, ушей, затылков, но через секунду все это снова покрывалось черными присосавшимися комочками.

Я всегда удивлялся, чем руководствуется таежный комар в своих нападениях на человека. Ведь он за всю свою долгую лесную жизнь ни разу человека не видал, человека не видали ни его родители, ни прародители до черт его знает какого колена. Казалось бы — откуда ему знать, что такое человек?! Посмотри и облети сторонкой подалее!.. Так нет — с каким-то восторженным самозабвением прет в атаку, присасывается и гибнет, гибнет, гибнет сотнями, тысячами, десятками тысяч!.. Поистине — расточительна природа!.. Комары попадались и раньше, но не в таких астрономических количествах. Я потому так много места уделяю этой, казалось бы, несущественной животиночке, что в нашем путешествии она сыграла весьма существенную роль. Взятые с собой самодельные накомарники в кратчайший срок выявили всю свою несостоятельность, а перчаток никто с собой захватить не догадался, и руки распухли в подушки, будто их кто-то накачал воздухом. Как-то, уже впоследствии, я из чистого любопытства проделал такой опыт: выставил голую ладонь, сосчитал до десяти и потом хлопнул сверху второй ладонью. Убитых на месте оказалось тринадцать. Еще столько же успело увернуться...

Скоро река стала все чаще и чаще переходить в пороги, все чаще и чаще приходилось вылезать и перетягивать ладью волоком. В конце концов, наш чичероне окончательно пристал к берегу и заявил, что теперь надо идти пешком до какой-то деревеньки, откуда на подводе можно будет добраться до Кивача.

Сельсоветская подвода, добытая после некоторых дипломатических пререканий, скрипела и болталась во все стороны на своих деревянных осях, а впереди, над оглоблями, ходуном ходили

тощие лопатки рыжего сельсоветского коняги. Уже к вечеру мы проехали над широким ущельем, дно которого заполняла клокочущая пена Суны. Кивач был уже близко, и грохот его не давал говорить. Солнце садилось, как и в прошлый день, в узкой полоске синеватого неба на горизонте. Там был запад, и отсюда, сверху, его было очень хорошо видно.

«Если идти все время на запад — доберемся ли мы, в конце концов, до солнца? — подумал я. — А может быть, солнце к тому времени вылезет с другой стороны и окажется на востоке?..»

* * *

В Киваче было решено устроить легкий стоп. Вечером за картошкой в мундирах Ваню стало слегка познабливать. Ирочка пощупала ему пульс: вышло под девяносто. Дали ему аспирина и сказали, чтобы сидел смирно и никуда наружу не вылазил. В широченной полупустой горнице карельской избы сложили на пол рюкзаки, постелили плащи и под заунывное пение какой-то старенькой бабуся стали засыпать. Бабуся укачивала своего внучонка в своеобразной люльке: вдоль потолка, из угла в угол, была за один конец прикреплена длинная березовая жердь. К другому концу на трех веревках привязана берестяная люлька. Бабуся ритмически дергала люльку вниз, жердь гнулась и потом выгибалась обратно. Но жердь была суха и упруга, и качания приобретали почти галопирующий темп. Как несчастный карельский бэбс умудрялся спать при таких условиях — было неясно, тем более что пение шло в том же темпе, что и качание.

— Вот этот уж на море не заболит! — думал я, засыпая. Потом пришла в голову мысль, что может заболеть Ваня. — Ну, вот еще! — самого себя испугался я. — Чего не хватало! Ничего с ним не станет: проспится и все будет в порядке.

Но на всякий случай прислушался. Ваня сопел, очевидно, еще в бодрствующем состоянии:

— Ты смотри, Квак, того... это самое!..

— У? — он поднял смешную, без очков, голову от подушки.

— Я говорю — ты смотри не разболейся у меня тут!

— Нет, это так — ерунда! Завтра пройдет!

— Ну — смотри!

Потом снова стало тихо, и только бабуся прыгающим через кочки фальцетом продолжала свое: а-а, а-а, а-а, а...

* * *

Наутро я пошел оглядеться. Ваня еще спал, и мне сказали, чтобы я не особенно фигурировал по деревне, дабы не возбуждать праздного любопытства. Я посмотрел на Ванино лицо — оно было все красное, как помидор, а рюкзак, на котором он спал, был весь измят. Должно быть, здорово вертелся ночью.

Но в деревню меня не тянуло. Я пошел по тому направлению, откуда больше всего несло грохота, и минут через пять вышел на Кивач. Высунул голову над обрывом, и меня оглушило: таких водопадов я еще не видывал в своей жизни. Суна расплелась здесь на две струи и срывалась метров на двадцать в глубину. Левая струя огромным широким языком, спокойно, точно вылитая из стекла колонна, поднималась из огромной черной миски с белой пеной. Другая струя, правая, бесновалась уже с самого своего начала. Струи в ней пересекались, били одна через другую, и казалось, будто кто-то наверху отвертел какой-то гигантский грандспойт и посылает струю в гранитные торосы ущелья.

В числе прочих есть две вещи в мире, которые могут привести меня в азарт и заставить забыть доводы здравого рассудка: это альпинизм — лазание по скалам, и бегущая вода. Со мной уже бывало в жизни, что я забирался на какой-нибудь гранитный великан, потом не знал, как мне оттуда слезть обратно вниз, и давал себе клятву никогда больше не вовлекаться в такие идиотские аферы.

И при первом удобном случае снова лез и снова оказывался в пиковом положении.

А если где-нибудь бежит или бьется, или клокочет вода — то тут я могу сидеть часами и часами, глядя все в одну точку и не замечая, как проходит время, и пребывая мыслями где-то в вате водяного грохота. И мне не будет скучно... И если сядет солнце, то я только замечу, что мне стало холодно, и пойду домой, и в ушах потом всю ночь будет, как в морских диковинных раковинах, шепот грохотавшей воды.

Я, цепляясь за мокрые черные камни, слез на высмотренный сверху балкончик «в профиль» к

водопаду, сел там на мокрый мох и просидел бог его знает сколько времени. Смотрел, смотрел, смотрел, и становилось все спокойнее и величавее на душе, и мелкими заботами стал казаться весь наш побег, и дождь, и болота. Потом сообразил, что если меня, чего доброго, позовут или будут искать, то ведь никто не знает, где я обретаюсь, а сам я ничего из-за шума воды не услышу. Я встал и, за неимением ничего более подходящего, бросил в водопад коробку спичек. Так — «от меня»... Что-нибудь нужно было дать Кивачу «на память». Потом вылез обратно и вернулся домой. Ваня все еще спал...

Борис нервничал. Он шатался взад-вперед по огромному «холлу» нашей избы и старался не то чтобы не показываться на улице, а даже и близко к окнам не подходить. Чёрт его знает, какие могут быть встречи и какие могут проявиться любопытства... С бумагами у него, правда, все обстояло в относительном порядке, но у Бориса за его длительную практику выработался принцип не навязывать своей персоны чинам и лицам, обладающим правом потребовать документики. И потом, он уже настолько привык к тому, что внешне как будто совершенно незнакомые люди внезапно бросались жать ему руку, восклицая: «Ах, Борис Лукьянович! Как поживаете?! Вы уже вышли?.. А я думал, что вы все еще сидите!» — что стесненное одиночество в душной избе он предпочитал чреватому последствием появлению в деревне.

Но в основном его нервировал Ванин сон. Тот все спал и спал, не принимая в расчет ловкости рук орловского ГПУ, которое ежечасно могло хватиться Бориса и разослать по радио описание его наружности. Правда, Борис значился в командировке, а его начальник еще не вернулся из какой-то поездки... чем чёрт не шутит, когда Бог спит. Во всяком случае, в Борисе мысль о том, что надо дать Ване отоспаться, боролась с желанием разбудить его немедленно и с наступлением темноты продолжать маршрут с постепенным загибом на запад. И он совсем уж было поддался последнему соблазну, когда на сцене появился я.

— У тебя все в порядке, Юрчик? — спросил он меня. — Сейчас будем будить Ваню и двигаться дальше.

— Что, неужто еще спит? — спросил я, и в душе у меня шевельнулись неприятные предчувствия.

— Спит, божий праведник! Да только это не

входит в повестку дня. К темноте нам нужно смываться!

Я помолчал и посмотрел на Ваню. Тот вкусно уткнулся носом в рюкзак и посапывал, будто на свете не было ни Карелии, ни ГПУ.

— К темноте? — переспросил я. — Почему к темноте? Наоборот, нам смываться можно только утром, ведь мы еще на легальном положении!

— Ну так что, что на легальном? Были на легальном, а теперь перейдем на нелегальное! Во всяком случае, ждать до утра нельзя. Ну ты, Юрчик, не торгуйся, а устраивай свои манатки. Ирина уже пошла нюхать, как тут относительно моста, свободен ли переход.

Мне стало не по себе. Ваня спит, значит, с ним явственно не все в порядке. Идти дальше, если он простужен, — безумие и ужас, потому что если он умудрился простудиться в поезде, то что с ним будет после первой же ночевки в болоте? С другой стороны, у Бориса явственно скипидар: выходить из деревни вечером значило бы неминуемо возбудить весьма обоснованные подозрения со стороны первого встречного, включая сюда и хозяина нашей избы. А отложить на утро? Ваня бы, пожалуй, успел к тому времени проспать и прочухаться: после такого сна люди обыкновенно встают здоровыми. Ну, а если Бориса действительно хватятся? Много ли шансов на то, что его опознает местный сельсовет, если он не будет показываться наружу, а завтра утром тихонько смоемся?

Чёрт его знает! Моего ума не хватало, чтобы охватить всю сложность событий, но, с другой стороны, не хватало и моей солидности, чтобы вступать в пререкания с объединенными силами Бориса и Ирины. Во всяком случае, мне не хотелось будить Ваню. Если даже выходить вечером, то до сумерек осталось много времени. А Ваня не будет же спать до бесконечности!

Все эти мысли я высказал Борису. Тот продолжал настаивать. Я стал принимать все более категорический тон. Спор из сдвинутого шепота перешел на повышенные нотки. В конце концов, сговорились на том, что подождем возвращения Ирины, а я пока займусь сборкой Ваниных вещей.

Ирина вернулась через полчаса. Она заявила, что была на мосту через Суну, что постов там никаких нет, но что на другом его конце околачивается какая-то темная фигура в штатском. Фигу-

ра, правда, пропустила ее мимо себя, не выразив особых подозрений, но, когда Ирина возвращалась обратно, фигура все еще стояла, прислонившись к перилам моста, и с нарочитым безразличием поплеывала в воду.

— Надо моментально смываться в другую сторону! — решил Борис.

По-моему, ни черта подобного! Завтра утром вполне официально сядем в лодку и попрем по направлению на Сопоху. Что они по ночам выставляют посты на мосту, это совершенно понятно. А в другую сторону — это куда? Ведь через Суну нам все равно придется переправляться? А вплавь — это спасибо, переправляйтесь сами!

Я думал, что Ирина будет ожесточенно защищать точку зрения Бориса. Но оказалось, что она и сама в нерешительности. Степушка пассивно стоял на моей стороне: выходить куда-то ночью, в особенности куда-то «в другую сторону» — ему совершенно не улыбалось. Мы поругались еще некоторое время и, в конце концов, сошлись на том, что подождем самостоятельного пробуждения Вани. Во-первых, посмотрим, как он себя чувствует, а во-вторых, он рассудит, кто прав, кто виноват.

Борис демонстративно зарядил свою берданку, сел за стол к окну и положил ее подле себя.

— Это на какой предмет? — спросил я.

— Да так. Ежели что — будем отбрыкиваться.

— Это против трехлинейек-то?

Ирочка извлекла из складок одежды свой шестизарядный пистолет и передала его Борису.

— На, Бобик! Если придут — то последнюю в себя!

— Ну, а остальные как же? — спросил я.

— А уж остальные — пять штук! В комнату войдет только шестой!

— Нет, я спрашиваю: остальные — это мы. А мы как же?

— Ну, вы! Вам ничего, посидите — отпустят! А мне после Соловков дорога только к стенке!

— Бросьте! — возмутился я. — Чего вы панику наводите?! Никаких признаков опасности еще нет, а вы будете подымать скандал, если кто-то в комнату войдет! И потом — если вы будете отстреливаться, то к стенке пошлют всех нас! Кто там потом разберет, кто стрелял! Вот, ей-богу, паникеры!

— Ты, Юрчик, молод и зелен! — веским тоном заявила Ирочка. — Вот ты пересидишь свое, как

Боб, тогда по-другому будешь разговаривать!

— Нет, только, ради бога, не стреляйте! — вмешался внезапно Степушка. — Ведь нас всех убьют! Ведь я совсем ни при чем! Ведь я не стрелял, а меня тоже убьют вместе с вами!.. Нет, вы, Борис Лукьянович, ради бога, не стреляйте!..

От Степушкиного визга в углу что-то зашевелилось, и раздался зычный Ванин зевок.

— Наконец-то!.. — вырвалось у всех. — Ну что? Ну как вы? Ну ты что, Квак? — посыпалось со всех сторон.

Ваня приподнялся на локте и удивленно осматривался по сторонам. Потом, видимо, вспомнил все обстоятельства дела и стал щупать вокруг себя руками в поисках очков. Я достал их с печки, куда их убрали для вящей безопасности, и передал ему.

— Ну? — он удивленно воззрился на меня.

— Что ну?

— Чего вы все на меня так уставились?

— Да вы тут, дядя Ваня, вообще говоря, являетесь предметом оживленной дискуссии! — заявила Ирочка. — Находятся лица, осмеливающиеся сомневаться в вашем здоровье!

— То есть как — в здоровье? Я совершенно здоров! Чего вам от меня нужно?! — возмутился он. В характере Вани заложена глубочайшая ненависть ко всем, высказывающим такого рода сомнения.

— Здоров-то ты здоров, — заявил я, — да вот только проспал ровным счетом двадцать четыре часа! А вчера у тебя было...

— Сколько? — прервал он меня. — Не может быть!

Потом он «энергетически» вскочил и стал натягивать сапоги. Ирочка подошла и осторожно взяла его за пульс.

— Чего вы, Ирочка! Да, ей-богу же, у меня ничего нет!

— Т-шш, дядя Ваня! Ваше дело шестнадцатое!

Ваня на минуту присмирел. Все с напряжением смотрели на Ирочкины шевелящиеся губы. Потом она выпустила Ванину руку и молча отошла в сторонку. Сказалась привычка к врачебной тайне.

— Сколько? — вырвалось у всех.

— М-мм, не густо... Под сто все-таки стучает.

— Да ну, ерунда! Это я просто только что проснулся и вскочил — вот вам и пульс! — запоротестовал Ваня.

Ирочка, видимо, не разделяла его оптимизма.

— Слушай, Квак, — собрав весь свой запас вескости, заявил я, — ты дурака не валяй! Ежели ты у нас потом по дороге скиснешь — сам понимаешь, какие могут быть последствия!

— Да ничего я не скисну! — ерепенился Ваня. — С чего мне, спрашивается, скисать? И потом, вообще ничего у меня нет!

Ваня проспался и находился в забубенно-бронбойном настроении. Похоже было на то, что у него действительно ничего нет.

— Раз такое дело, — произнес Борис, — то я предлагаю немедленно трогаться!

— Куда трогаться? — снова изумился Ваня.

— Чего трогаться? Да потому, что время идет, Ваня! Ты, брат, сутки проспал, и тебе море по колено! А меня могут каждый момент хватиться! Если уже не хватились...

— Ерунда на постном масле! — категорически отрезал Ваня. — Куда ты сейчас будешь трогаться? Ведь ночь на дворе! А кто тебя будет хвататься?! Ведь ты сам говорил, что у тебя пять дней в распоряжении. Да и нельзя нам сейчас трогаться — у всей деревни на виду! Ты обалдел, что ли? Сцапают как миленьких! Уж наверное сцапают! Какие уважающие себя экспедиции шатаются по лесу по ночам? Завтра двинем на Сопоху — и там будет видно! А вот если есть что пожрать — так это я с удовольствием! — умиротворяюще добавил он.

Тон был настолько категоричен, что Борис, поворчав еще некоторое время, утихомирился. Насчет болезни я тоже больше не решался заводить разговор. Если ехать все равно завтра, то завтра и посмотрим. Если будет жар, то Ваня и сам сообразит, что переть дальше нельзя. Ну а если ночью действительно появится кто-нибудь с приглашением в местную милицию?.. Ну нет, не появится! Это просто так — Борис панику наводит: ясно, что ему хочется какого-то движения. Я б на его месте, вероятно, тоже сидел бы как на иголках! А что если бы Борису спать на дворе, допустим? Успел бы смыться, если что. Ну, а как мы тогда будем объяснять его отсутствие?..

Я все же предложил Борису переключиться во двор.

— Да уж нет! — ответил он. — Уж ежели погибать, так вместе! Все равно, если хватятся — отсюда с собаками поймают. Здесь еще здорово густо всякого населения.

Спать, по понятным причинам, никому не

хотелось. Сидели, пока не пришел с работы хозяин нашего «отеля» — маленький, приземистый, как все карелы, старикашка, крепкий, как эта ихняя береза, и кряжистый, как карельские болотные сосенки. Хозяин угрюмо посмотрел на нас в темноте, потом распеленал свои портянки и полез на печь.

— Почивать, почивать пора! — пробурчал он недовольным баском.

Чтобы не возбуждать излишних разговоров и мыслей, мы решили улечься. Спать — не спать, а так — чтобы не было раздору между вольными людьми.

Озеро

Ночные дрожементы и трепеты растаяли в иссеро-буро-сизом свете туманной зари. В избе было жарко натоплено, и низенькие квадратные окошки покрылись густым молочным паром. Это означало, что ночью снаружи был собачий холод. А туман вперемежку с дымом, стелившийся на метр от земли, был хуже дождя: он оседал густой ледяной росой на деревья, пни и траву, и было ясно, что с тем же успехом он осел бы и на нас — останься мы ночевать под открытым небом. Стоило пройти десять шагов по траве — и ноги промокали выше колен. Сапоги спасали плохо, а Степушкины — потом, в лесу, и вовсе разлезлись.

Умело подтасовав собственные пожелания, Ваня добился того, что сельсовет наотрез отказался предоставить нам проводника. В селе Шишки, на озере Сун, за пару червонцев нам уступили старую, как вся история навигации, лодку.

Когда мы, наконец, с ворчливым видом погружившись, выехали на озеро, души наши преисполнились странным ощущением свободы. Свободы драпанувшего из зверинца волка.

На суше еще скрывались всяческие непредвиденные возможности. Здесь же все стало ясно и просто: широкая серая гладь, рябая от капель моросившего дождя, и далекие мохнатые берега: ни домика, ни дымка, ни лодки. Опасения погони или заставы потеряли свой смысл и уступили место свободнейшему из ощущений: надежде на самого себя и больше ни на кого в целом свете.

План кампании заключался в том, чтобы, добравшись приблизительно до середины озера,

свернуть влево, пристать к берегу и, затопив лодку, перейти на пешее передвижение. Одна часть этого плана стала самопроизвольно исполняться еще по дороге: наш ковчег, по-видимому, предпочитал славное самоубийство в открытых водах насильственному потоплению где-то у чужих берегов. Он сквозь все свои щели, булькая, впускал ледяную воду, пока она, наконец, не приняла жизнеопасного характера. Тут мне пришлось спасать положение: сняв один из своих резиновых сапог, я принялся ожесточенно подсоблять Борису, без всяких видимых результатов черпавшему воду нашей семейной кастрюлей. Уровень как будто бы стабилизировался.

Пристать оказалось во много раз труднее, чем это представлялось нашим неискушенным в мореплавании умом: мелкое и пологое дно было метров на сто от берега завалено какими-то корягами, бревнами и валунами, причем валуны местами оставляли узенький проход, местами же загоразивали весь фарватер. Лодка тыкалась в них своим тяжелым, налитым водой корпусом, застревала и запутывалась, после чего ее приходилось выпихивать веслами, с риском окончательно перевернуться, сесть на камень другим концом или проломать хлипкие доски ее прогнивших бортов. Вылезти и добраться до берега вброд было немислимо: между камнями были глубины, куда все весло уходило целиком и откуда на поверхность подымались грозные и вонючие пузыри.

В конце концов, с грехом пополам, с окончательно промокшей материальной частью пристали. Лодка, не дожидаясь посторонней помощи, тихо и покорно утопла тут же, у самого берега, и мне, как обладателю единственно непромокаемых (хотя и насквозь промокших) резиновых сапог, пришлось оттащить ее брентное тело куда-нибудь подальше, чтобы скрыть от непрошенных взоров ее гордо загнутый викингский форштевень. Всю эту десантную операцию надлежало проделать как можно скорее, в расчете на то, что береженого и Бог бережет, и в опасении того, что какие-нибудь случайные или неслучайные путники могут заинтересоваться странными маневрами таинственного судна на поверхности таежного Сунозера...

В нервной спешке я ободрал себе натертые веслами волдыри на руках, пообломал ногти о шершавые и занозистые ковчежные борта и под конец провалился по пояс в ледяную воду. После

этого я плюнул на лодку и, богохульствуя, вылез обратно на берег. Отряхиваться или сушиться времени не было. Хлюпая всеми предметами своего туалета, мы поспешили нырнуть в лес...

Лес

Распаренные и до боли усталые ноги то мягко уходили в бездонный губчатый мох, то резко стучались об острые раakitные осколки, то куда-то с приглушенным треском проваливались. Были забыты сумрачные чудеса окружающей тайги, был забыт счет шагам, было забыто даже самое время.

Шли по бесконечным анфиладам огромного храма с темно-зелеными открытыми куполами, с темными, сумрачными галереями, с самоцветными мозаиками дождевых капель и мягкими, бесконечно узорчатыми коврами мхов. Проходили под темными переплетами лохматых кронштейнов, по венецианским дворикам пустых и зеленых полянок, по широким террасам открытых болот, с тихими, будто искусственными, прудиками болотных окон... И ничего этого не замечали...

Шли, только глядя на мелькающие пятки переднего и стараясь ступить точно в его следы. Так меньше уходит энергии — и физической, и нервной. Когда передний нагибался — автоматически, на ту же глубину, нагибался и следующий: проходили под чем-то нависшим сверху. Когда передний прыгал, проползал на коленях или лез наверх по нагроможденным один на другого скелетам лесных великанов — задний повторял его жесты, чтобы не думать, чтобы не тратить сил на выискивание других возможностей.

Была мертвая тишина в лесу, и всякие страхи и опасения стали постепенно принимать все более и более отвлеченный характер. По самой природе кругом чувствовалось, что если из-за наваленных там вон заросших мхом каменюг внезапно появится удивленная морда какого-нибудь динозавра, то это произведет меньшее впечатление, чем если бы появился человек. Человек был немислим в этих условиях, так же немислим, как динозавр на улицах Москвы. И говорили мы придавленным шепотом не из страха перед людьми, а просто так, чтобы не нарушать вековой традиции здешних мест — тишины. А если кто-нибудь случайно отбивался шагов на двад-

цать в сторону — то остальные казались ему какой-то странной фата-морганой, бесшумно, как гномы, скользившей по зачарованному лесу.

Шли без отдыха, без срока, до самого позднего вечера. Старались уйти подальше от жилых мест, чтобы можно было развести костер, обогреться, подсушиться и сварить что-нибудь съедобное. Впоследствии предполагалось и поспать, хотя вначале никто не верил в возможность спать в этой густой смеси из воздуха, воды и комаров... Вода была сверху, снизу и со всех сторон, с коллоидально взвешенными в ней комарами. Как это животное умудрялось выживать в собачьем холоде сентябрьских ночей — было загадкой, над которой бились лучшие умы нашей экспедиции. Но загадка оставалась неразрешенной, а предстоящая ночь чудилась всем, кроме Бориса, каким-то исправленным и дополненным изданием дантовского ада.

Борису вообще ничего не чудилось. Его кас-торовая оболочка оправдала себя на максимальное количество процентов, и, если не считать мокрой от пота рубашки, все остальное было на нем сухо, как в первый день творения. Весь его вид говорил о том, что он находится в «большом походе», в дальнем плаваньи и что никакими интеллигентскими измышлениями ему заниматься неуместно.

Первое время бодрилась и Ирина. Но потом мрачные мысли стали приходить и ей. С компасом и планшеткой в руках она шествовала в голове отряда и, как наиболее «зрячая» из всех, лавировала так, чтобы не пересекать слишком открытых мест, старательно перепрыгивала тропинки, когда таковые встречались, и пытливо заглядывала под каждую кучу бурелома с целью вовремя заметить возможный «секрет».

Но по мере того, как оставались позади часы и километры, по мере того, как на ногах и плечах появлялись волдыри от сапогов и рюкзаков, а все тело постепенно наполнялось жидким свинцом смертельной усталости, мысли о воде, холоде и комарах стали отходить в область буржуазных предрассудков, уступая место одному-единственному и, так сказать, «категорически-императивному» вожделению: грохнуть на землю. Что уж там будет потом — это чёрт с ним! Комары стали казаться несуществующими, вода во всех видах — живительной влагой, а холод — какой там холод! То, что не успело промокнуть снаружи, теперь в гораздо более сильной степени

промокло изнутри, и мои резиновые сапоги и кожанка приняли, я бы сказал, чисто символическое значение непромокаемой стенки между врагом внешним и внутренним: дождем и потом. Теперь за то, чтобы немножко померзнуть, хотелось отдать полжизни и полцарства в придачу.

Первое время я, руководимый альтруистическими соображениями, оглядывался на шедшего сзади меня Степушку. Мне казалось, что такой марки он выдержать не в состоянии и лопнет на первой же версте. Заранее досадовал, что эта старая калоша будет тормозить наше стремительное и победоносное шествие.

Но старая калоша, мрачно сопя, следовала за мной как неумолимый рок и не отставала ни на шаг. Альтруистические соображения постепенно перековывались в эгоистические: когда ж ты лопнешь, чтоб тебе пусто было! Если бы Степушка лопнул — это был бы совершенно официальный и притом для меня совершенно безнаказанный повод угнездиться где-нибудь во мху и протянуть набухшие и раскаленные добела ноги... Но в Степушке, казалось, кто-то завел бесконечный часовой механизм, и он, скрипя и повизгивая на осях, двигался, двигался и двигался, вселяя в душу отчаяние и безнадежность... Неужели эта жила не лопнет?... Уж не лопаться же мне первому!..

В голове становилось все туманнее и туманнее, рюкзак отрывал плечи от шеи, сердце билось с резонансом по всему телу, будто кто-то изо всей мочи колотил молотком по чугунной сковороде, а в легких что-то кипело и взрывалось, выталкивая наружу огнедышащий пар...

Казалось — еще немножко, и колени подкосятся и чьи-то мягкие руки подхватят меня и уложат куда-то в пушистую, мягкую темноту обморока. Но в такие моменты скрип Степушкиных суставов вонзался каленым железом в самолюбие, зубы скрипели, напряжение всего тела концентрировалось в челюстях, и глаза старательно моргали, распахивая в стороны наплавившую темную пелену... Нельзя, нельзя, нельзя!.. Это ж какой позор будет: бухгалтерский ишиас перешагал молодые спортивные мускулы! Можно будет провалиться после этого!..

Ирина-то — она идет без нагрузки, перед ней еще не так стыдно. Хотя, конечно, после этого бедненькая мужская часть человечества потеряет в ее глазах последнее оправдание своего существования, свое последнее преимущество: физи-

ческую силу и выносливость. После этого мужская часть человечества сможет пойти и утопиться вся без остатка...

Но каждое новое болото появлялось на горизонте, как новая волна над головой утопающего. Когда болото было слишком длинным, чтобы стоило его обходить, — его приходилось брать приступом, почти бегом, как в цепи, атакующей крепостной вал. Ноги увязали выше колен, приходилось помогать руками, выбираться после каждого шага на колени, лихорадочно вытягивая увязшие в хлюпающем торфе конечности; иногда проще было ползти на четвереньках, используя максимум поверхности собственного тела, — чтобы только не застревать на открытом месте, где все на версту в обе стороны было как на ладони и где, по логике вещей, было бы проще всего поставить «секрет»...

После болота обыкновенно крепостным валом вырастал невысокий гранитный кряж, заваленный буреломом и валунами. «Засеками» называли мы эти нагромождения когда-то завалившихся деревьев, гранитных осколков и густого, колючего подлеска. Засеки были хуже проволочных заграждений, потому что им не было конца, потому что по внешнему виду никогда нельзя было определить: что это перед вами — гниль и труха или переплет твердых и упругих, как сталь, сучков. Лежит перед вами на высоте груди в два-три обхвата ель. От нее — во все стороны твердые, острые и цепкие, как рыболовные крючки, ветки. Хвои нет, все поросло влажным набухшим мхом. Вы закрываете лицо руками и пытаетесь проломить засеку всем телом. Первые, тонкие, сучки ломаются, но потом в вас сразу в пяти местах упираются раскоряченные вилы толстых ветвей, и вы принуждены сдать. Вы раздвигаете их руками, обдирая кожу и всаживая занозы, проползаете, перешагиваете и, наконец, добираетесь до самого ствола. Тут вам предстоит влезть на стенку, утыканную теми же ветвями. Вы хватаетесь за что-нибудь, делаете зверское усилие, чтобы поднять на руках ваш собственный вес и вес вашего рюкзака, и в этот момент — тр-рах-х... грудная клетка великана проваливается под вами, как яичная скорлупа, вы при падении обо что-то стукаетесь, что-то на себе рвете и остаетесь лежать в мокрой трухе... Вы потеряли минут пять времени, некоторое неопределимое, но весьма ощутимое количество

сил и нервов, ободрали себе в нескольких местах кожу и одежду и, когда теперь оглядываетесь назад, вы получаете сомнительное удовольствие видеть Степушку, как ни в чем не бывало прокладывающего себе путь по тому же маршруту. Для вас эта ель была целым испытанием, целой героической эпопеей, у вас теперь пульс этак под сто двадцать, вы чувствуете, что никогда, даже после целой ночи сурового лыжного хода, так не уставали, а тут вдруг все ваши спортивные заслуги бледнеют перед каким-то ходячим арифмометром, который завели и который шагает, шагает и шагает, с хладнокровием двойной итальянской бухгалтерии отсчитывая кровью и потом пройденные вами километры.

После одного из болот, на котором я два раза застрял и потом с напряжением последних оставшихся силенок выкарабкался, перед нами выросла невысокая гранитная стенка, покрытая толстым одеялом мха. Вцепившись в мох пальцами, я вместе с целым его куском сорвался и сравнительно безболезненно скатился обратно к подножью стенки. Скатился в мягкий мох. Такой же мягкий мох прикрыл меня сверху, и мне показалось, что никогда за всю свою жизнь ни в одной постели, ни в каком кресле я себя так тепло и уютно не чувствовал... Где-то в голове повернулся какой-то автоматический выключатель, мгновенно и беспелеяционно ликвидировавший во мне всякие налеты культуры и цивилизации — вроде чувства долга, стыда или самолюбия.

В груди что-то радостно пискнуло, и я почувствовал себя свободнейшим человеком на свете. Подошедшему Борису я заявил, что на ближайший отрезок времени вставать не собираюсь и что считаю совершенно бессмысленным выматывать из себя кишки из-за пары лишних километров с перспективами полного коллапса. И что при таком темпе завтра никто из нас не будет в состоянии пользоваться своими членами по принадлежности.

С некоторым безразличным удовлетворением я успел отметить тот факт, что Степушка и Ваня завалились в траву на полсекунды после меня, а Ваня даже отстегнул рюкзак, чтобы усестись поудобнее.

Борис жестом бенгальского тигра или капитана, обнаружившего на борту бунт, попытался совладать с массами и поддержать боевую дис-

циплину. Но массы с поистине изумительной сноровкой расселись кто куда, окопались и приняли вооруженный нейтралитет. А на соображения боевой дисциплины стадо закоренелых штафинок не реагировало никак. Попытка Бориса воздействовать на меня как на показательного дезертира была заранее обречена на неудачу. Я, наконец, сидел — и на апелляции к чувству долга, к совести и здравому смыслу не реагировал. Когда провалились такие же попытки возбудить вышеозначенные чувства у Вани и Степушки, Борис попытался обратиться за моральной поддержкой к Ирочке. Но тут выяснилось, что та тоже уже уселась на верхушке скалы и возмущение Бориса разделяла только чисто теоретически. Оставалось только последовать дурному примеру остальных и сидя произнести несколько горьких прогнозов относительно нашего поведения в случае вооруженного столкновения...

Так самопроизвольно образовался наш первый настоящий лесной лагерь.

Комариная романтика...

В нашу первую ночь на лоне природы я окончательно, раз и навсегда, убедился в том, что не принадлежу к любителям сильных ощущений. Тогда же во мне растаяли последние остатки всего того, что понимается под собирательным термином «назад к природе»...

Перелом в психике был резким и окончательным. В эту ночь я наконец начисто разделался со всякого рода сожалениями по поводу того факта, что в глубине души я, собственно, являюсь типичнейшим гнусеньким обывателем, для которого честная теплая кровать имеет абсолютно все преимущества перед дырявым ковбойским плащом Дальнего Запада или нансеновскими ночевками в полярных льдах... Скептическое отношение ко всякого рода романтике потеряло для меня свою кощунственность и приняло совершенно законный, я бы даже сказал, обязательный характер.

Но, с другой стороны, я понял, как китайцы умудряются писать пятитомные романы, время действия которых занимает всего каких-нибудь несколько часов. Если бы я вздумал описать эту ночь во всех ее деталях, описать ее так, чтобы читателю действительно стало ясно, что такое сентябрьская ночь под чересчур

открытым небом, пяти томов, пожалуй, не хватило бы. Одно только утешение в том, что большинство моих читателей провело в своей жизни, вероятно, не одну такую ночь и не под такими еще небесами...

Возьмите, например, такую удобную в общезнании вещь, как обыкновенные мужские штаны. Вы лежите на мокром мху и еловых ветвях, стараясь максимально использовать все утеплительные приспособления, имеющиеся в вашем багаже. Кроме того, сверху вы еще закиданы толстым слоем тех же густых и колючих еловых ветвей. Все это вместе дает вам первое время ощущение абсолютной теплонепроницаемости и даже некоторого удобства: снизу мягко, сверху мягко и между еловыми сучками вы всегда можете найти соответствующее углубление для некоторых возвышений на вашем теле.

Но вот постепенно, почти одновременно со сном, к вам начинает подбираться холод. В первую голову он завладевает наиболее отдаленными окраинами — ногами. Потом мороз начинает пробираться уже по всей вашей поверхности, и вы ощущаете необходимость вытянуть руки из рукавов и прижать их к телу. Эта необходимость становится все более и более насущной, пока вы ей, наконец, не уступаете, в ущерб всей сложной структуре укутывающих вас предметов.

Там, где кожа рук прилегает к коже боков и груди, образуется живительное тепло. И вам начинает мучительно хотеться проделать ту же самую манипуляцию с ногами, т. е. запихнуть их обе в одну штанину, прижать как можно теснее одна к другой... Вам начинает хотеться, чтобы у вас вместо двух ног была одна, толстая и теплая, вы, наконец, начинаете молить Бога, чтобы у вас вообще не было ног, чтобы не было этих дурацких конечностей, которые смертельно болят от пройденных километров и теперь еще в довершение всего мерзнут и коченеют...

И тогда в вашу душу начинает закрадываться жгучая ненависть к мужскому туалету. Неустойчива человеческая привязанность. Все положительные качества ваших старых, испытанных и проверенных брюк идут насмарку, и вы с энтузиазмом променяли бы их теперь на презренную, но такую широкую, теплую и удобную юбку...

Но брюки — это только ничтожная деталь. В такой же, если не большей, степени вас донимают сапоги, в которых ноги коченеют, но ко-

торых вы снять не можете, потому что закутать ноги вам не во что. Потом начинают болезненно проявляться некоторые сучковатые детали вашего ложа, причем вы не рискуете устроиться поудобнее, потому что это бы означало новых полчаса реставрации всей их умной системы утепления... Потом откуда-то по складкам вашей одежды до вас начинает добираться ручеек дождевой воды. Потом на затылке открывается маленький кусочек живого тела, на который мгновенно садятся штук десять комаров. Потом кто-то из ваших соседей, к которому вы прижались спиной, не выносит своих собственных мучений, поворачивается, и... мытарства начинаются сначала...

К утру я был твердо убежден в том, что схватил воспаление легких и пожизненный ревматизм. О том, что той старой развалине, в которую я за эту ночь превратился, придется сегодня целый день переть дальше, потом снова где-то в таких же условиях ночевать, потом снова переть и т. д. — я просто старался не думать. Эта мысль была подобна мысли о том, что будет, когда потухнет солнце или на землю налетит какая-нибудь мимоходящая комета. Охватить такую возможность слабым человеческим мозгом было невозможно, не стоило даже и пытаться... Я знал, что переть дальше придется — хочешь не хочешь, так же, как и знал, что и солнце когда-нибудь потухнет, но думать об этом, представлять себе возможные варианты такого события... нет! Проще всего было бы выкинуть мозги из головы и положить их назад в рюкзак до следующего употребления. Впрочем, мозги и сами по себе постепенно отказывались действовать и реагировать на окружающие явления...

Суна?..

Что были четыре дня и четыре ночи... Весь остальной мир ушел куда-то в небытие, уступив место волдырям на ногах и ключицах и смутному, все нарастающему подозрению, что творится что-то неладное...

Все, даже самые пессимистические, проекты предусматривали где-то в радиусе двух дней ходу цепь озер, связанных между собой протоками, с течением с севера на юг, т. е. — от нас глядя — справа налево. До этого по дороге лежали три крупных озера, северное из которых,

Линдозеро, мы должны были оставить километрах в двадцати вправо, в виду расположенной на нем пограничной заставы, о которой были разговоры еще в Салтыковке. Мы имели шансы проскочить между двумя из этих озер, не заметив их, мы имели шансы сильно загнуть на север и пройти незамеченными вблизи от Линдозера, но мы не имели никаких шансов прозевать эту западную цепь озер, которая пересекала нам дорогу густой водяной изгородью, с протоками из одного озера в другое.

Однако шел уже пятый день нашего робинзонского летосчисления, а озер не было и в помине... И наоборот — мы то и дело пересекали какие-то неведомые ручейки, а один раз пересекли даже какое-то совершенно не предусмотренное шоссе. Попадались небольшие лужицы — размеров наших салтыковских прудов, но они не могли быть обетованными озерами: из них самое крупное было метров сто в длину.

К тому же что-то неладное явственно творилось с Ваней. Временами, оглядываясь назад, я ловил его на том, как он по ровному месту шел, придерживаясь за деревья, или приостанавливался на несколько секунд, проводя ладонью по красному и мокрому лбу, будто стараясь убрать с лица мешавшую паутину... На одном из привалов Ирочка, несмотря на его протесты, все-таки пощупала у него пульс и рискнула дать ему аспирина на ночь. Но это, по-видимому, не помогло. Ваня чувствовал себя все слабее и слабее, и на привалах ему становилось все труднее и труднее подниматься вновь.

Никто не мог понять, как это получилось, но на третий день выяснилось, что наши продовольственные дела обстоят в высшей степени критически. Принимая во внимание то обстоятельство, что нам приходилось считаться еще с пятью-шестью днями хода, дневной паек был урезан до минимума, и ко всем прочим неприятностям прибавилась одна из самых страшных вещей, которые могут случиться с человеком: голод. Голод — это тоже одна из вещей, о которой можно писать пятитомные романы. Впрочем, в этом случае пятитомные романы все равно ничего не смогут объяснить человеку, которому самому ни разу в жизни не довелось рассматривать окружающие его предметы только и исключительно с точки зрения их съедобности. Если вы не знаете, какой вкусной вещью может быть при некото-

рых условиях простой кожаный ремень от рюкзака, если засунуть его в рот и жевать, то не пытайтесь читать пятитомных романов о голоде, не поможет!

И тем не менее Ваня почти ничего не ел. А потом как-то случилось, что он, отстав на несколько шагов, тихонько подозвал меня и сунул мне в руку свой кусок шоколада. И случилось так, что я этот шоколад взял, потому что жевание рюкзачного ремня сильно меняет психологию человека.

В результате и в дополнение ко всему этому у всех появилась какая-то жуткая раздражительность. Каждый лишний шаг и каждая лишняя минута, проведенная в лесу, были физическим мучением. И все, что влекло за собой эти лишние шаги и эти лишние минуты, вызывало взрывы протеста и возмущения. Когда постепенно стало все более и более выясняться, что мы попросту заплутались, слепое доверие к Ирочкиным лоцманским способностям пропало. Мне, например, все время казалось, что Ирочка систематически забирает вправо. Потом стало казаться наоборот. Степушка утверждал, что она бродит кругами, а Ваня поднимал воспаленное красное лицо к небу, и в этом, таком знакомом, лице мне временами чудилось какое-то странное, чужое выражение отчаяния.

Попробовали передать компас сначала мне, потом Степушке. Не помогло. Идущие сзади сравнивали «створы» и ловили на загибании то в одну, то в другую сторону. Когда тем же кончились попытки Вани и Бориса, подозрение в неточности советских компасов оформилось в уверенность. Уверенность, которая пробежала жутью по спинам и породила страх и отчаяние. Шли, мучительно вглядываясь в дымчатый дождевой туман, повисший на ветвях елей, в надежде увидеть какой-нибудь проблеск, стальную полоску озера или хоть кусочек голубого неба, в который могло бы проглянуть солнце, — чтобы хоть знать, где мы, куда двигаемся и не идем ли мы как раз в обратную сторону или, еще хуже — куда-нибудь на Поросозеро, где стоит погранзастава с собаками, патрулями...

Дети, заблудившиеся в лесу... Как беспомощен человек против пространства! На самолете — полчаса, а вот мы уже шли пятый день, и конца краю леса не было, и может быть, еще пять, и еще пять таких же дней впереди, а может быть, и вообще никто из нас не выйдет из

этого жуткого, полуживого-полумертвого леса. Надежд больше не было, было только желание сделать все, что еще можно сделать, и тогда... тогда выйти на погранзаставу...

Крышка

Была переправа через небольшую бурную и как лед холодную речку. Речки на карте не было, или, по крайней мере, найти мы ее так и не смогли, и единственное, что было удивительно, это то, что она текла слева направо, то есть как раз в направлении, противоположном всем себя уважающим и официально утвержденным речкам в этих местах. Вода доходила до груди и ворочала по неровному дну здоровенные валуны. Валуны били по босым ногам, и голова кружилась от стремительного потока вокруг, а руки держали над головой связанную в узел поклажу, от целостности и сохранности которой зависела жизнь.

А часа через два после переправы в глубине леса мелькнуло что-то серебристое и послышался отдаленный грохот.

Что за притча!.. На разведку послали Ирину и меня: меня — влево, Ирину — вправо. Я диким индейцем выполз на каменистый затопленный берег, и взорам моим представилось нечто совершенно непостижимое: огромная по местным масштабам река, бурлящая все в том же противостественном направлении слева направо. Река такая, что вброд перейти немислимо, а о том, чтобы переправиться на плотике, не стоило и думать: посередине, «в струе», как говаривал наш карельский проводник, была вакханалия бурунов и водоворотов, торчали гранитные рифы, над которыми ветер проносил шелковые вуали водяных брызг, а дальше, за основной «струей», растекалось клокочущее водяное пространство метров этак на триста-четырееста. За ним был снова тот же лес и те же серые тучи...

Я стоял, вжавшись между какими-то двумя обросшими мхом валунами, и мысли в голове повторяли движения бурунов в «струе». Что это?! Пришло в голову, что врут не только компаса, но и карты, и что мы с тем же успехом могли бы двинуться из Москвы без того и без другого. Тогда, может быть, хоть шли бы прямее. Но что это за речича? Ведь не было такой ни на старых довоенных генштабских трехверстках, ни на советских авиационных картах, ни даже в честном не-

мецком «Хандатласе» — «ручном атласе», который, вопреки его названию, не то что в руку не возьмешь, но и в хороший чемодан не упакуешь, и в котором можно найти любую лужицу и любой хуторок на всем земном шаре... И течет слева направо... Уж не Суна ли это?.. Может быть, со времени издания всех этих карт она как-нибудь изменила свое вольнодумствующее течение... Чёрт его знает! Больше мне нечего было сказать, я повернулся и ползком пробрался обратно к ожидавшейся экспедиции.

Ирина была уже тут, и на всех лицах было написано величайшее недоумение. Вопрос дебатировался со всей подходящей к моменту оживленностью, пальцы бегали по картам, и высказывались самые невероятные предположения. Но Ирина молча стояла с планшеткой в руках и потом вдруг заявила, что теперь ей все ясно. В ее тоне была непогрешимая уверенность монаха, обличившего ведьму в сношениях с дьяволом.

— Это Суна! — заявила она. — Мы просто все время шли на север, и вот теперь мы здесь, — она указала пальцем на место на карте, которое до сих пор ничьего внимания не привлекло, потому что отстояло от нашего маршрута километров на сорок.

Сначала это заявление было принято критически. Логических предпосылок для критики не было никаких — всем было ясно, что мы заплутали и, заплутав, могли выйти куда угодно, но выйти на Суну... сознаться самому себе в том, что четыре дня величайшего напряжения автоматически идут псу под хвост и что — самое главное — это означает поворачивать оглобли... Чаемый абсурд сильнее сущей реальности. В такую возможность никто верить не хотел.

Но время проходило, с ним один за другим отваливались всевозможные утопические и неутопические, вероятные и невероятные, хитроумные и гениально простые проекты, предположения и объяснения. Через полчаса снова вернулись к Ирочкиному варианту.

— Но ведь если это так, то мы — в мешке... Вброд через Суну? И думать не стоит! Да и зачем? С тем чтобы потом снова переходить ее севернее Поросозера?

— А до границы? Сколько же это теперь получается до границы?

— Шестьдесят-восемьдесят километров приблизительно!..

Молчание.

— А сколько же мы, выходит, прошли?

— По воздуху — около сорока.

— Да ну, ерунда! Что ж это мы шли по десять километров в день, что ли?!

— Не шли, а проходили! Шли-то мы больше, да вот только оказались в результате в сорока километрах... Если три версты обходами — прямиком будет семь...

Молчание.

— Значит, что же? Еще два с половиной раза столько же? Еще десять дён?.. А провиант?..

— А Ваня?

Снова молчание...

* * *

Мы шли снова гуськом. В глотке у меня застряла холодная устрица. Мы шли по берегу Суны на юго-запад, и где-то впереди Суну должно было пересекать шоссе. Тогда направо должно было лежать Линдозеро, и на нем погранзаства. Мы должны были повернуть направо...

Вела Ирина, сзади шли Ваня с Борисом. У меня в глазах перламутром переливалось что-то непривычное: последний раз я ревел уже довольно давно. Деревья качались, и я не знал — от ветра ли или просто так: они качались в разные стороны, и земля тоже качалась, как палуба парохода.

Впереди ныряли острые Степушкины плечи с тоскливым, как спущенный воздушный шар, рюкзаком. Между ними был виден кусочек морщинистого затылка и комической намочшей кепки. Лицо висело где-то на груди, и его видно не было. И еще дальше впереди по воздуху плыли свернутые золотые косы на гордой тонкой шее. По Ирине нельзя было понять, что она думает.

Борис шел последним, потому что нельзя было оставлять сзади Ваню. Если бы он свалился — никто бы ничего не услышал. Но когда впереди мелькнул просвет и в просвете Ирина различила телеграфный столб, Борис остановился и тихо свистнул.

Остановились.

— Ребята, я обратно не иду.

Сели, потому что можно было не стоять.

Ваня посмотрел на него красными глазами, точнее — красными веками, потому что глаза заплыли в щелки и их было не различить. Видно

было, что он силился хоть на секунду отбросить жар, отбросить туман от головы, чтобы сообразить — как же, в конце концов, что же, в конце концов, получается?

— Куда ж ты пойдешь?

— Мне обратно нельзя. И потом, я считаю, что вам никому обратно нельзя. Слишком далеко зашли. А если нужно будет пройти еще десять дней — пройдете! Ничего с вами не станется! На карачках доползете, но доползете!

— Не доползем. И ты не доползешь! У тебя провианту на два дня в общей сложности!

Ваня встал, как встают после нокаута, и двинулся дальше. За ним потянулись остальные. Но Борис топтался сзади на месте и что-то еще говорил. Через минуту я оглянулся — он все-таки шел. Но у меня в глазах все прыгало, как в плохом кинематографе.

— Квака... Куда ж назад?..

— А куда вперед?..

— В Салтыковку?.. Или на Лубянку?..

— В Салтыковку. А завтра опять... Через год.

* * *

На шоссе мы устроили привал с костерчиком. Было так странно, что люди могут теперь смотреть на нас сколько хотят... Борис даже снял рюкзак и сушился. Он уже, очевидно, покорился своей судьбе.

Из-за поворота показалась какая-то скрипучая двуколка, забитая до пределов своей вместимости двумя толстенными карелами. При виде нас они сначала шарахнулись в сторону, но потом, убедившись в наших миролюбивых намерениях, остановились и стали молча на нас глазеть. Ирочка попыталась выступить в роли парламентаря, но безрезультатно: карелы молчали, будто видели перед собою каких-то лесных духов.

Но через минуту снова послышался скрип колес, и вслед карелам из-за поворота показалась телега с кучером и с человеком в зеленой фуражке. Кучер моментально остановил коня, а человек в зеленой фуражке нырнул в телегу, на ходу отстегнув наган.

— Кто такие? — послышался крик.

— Да вот, товарищ, — выступила Ирочка, избранная ввиду своей ангельской наружности в парламентаря, — мы из Москвы, научная экспедиция, заплутались тут у вас — неизвестно, куда

нам теперь двигаться! Мы уже пять дней по этому вашему лесу плутаем. Помогите хоть вернуться куда-нибудь в жилые места!

— А документы есть?

— Все документы в порядке, товарищ начальник, да что нам с них, с документов! Мы весь провиант проели, один у нас заболел, и просто не знаем, куда деваться! Вы, кажется, из погранохраны — может быть, сможете нас хоть в Сопоху доставить?

Ирочка направилась к телеге. Дядя с нагном приподнялся и стал всматриваться.

— Сколько вас?

— Нас пятеро. Один больной — начальник экспедиции. Вот наши документы, разрешите показать?

Дядя подумал, потом вылез из телеги и позвал Ирину.

— Ну-ка, покажите-ка!

Видимо, подействовали Ирочкины чары, потому что минут через пять товарищ начальник (он оказался начальником Линдозерской заставы) повернул свою колымагу обратно, погрузил в нее Ирочку и пригласил нас топтать за ними. «Но ближе чем на сто шагов к телеге не подходите! И чтобы все вышли, чтоб никто в лесу не оставался!»

Колымага заскрипела, и мы, спешно упаковав развешанные пожитки, тронулись за ней, шагая рядом по настоящему, твердому, полумощенному шоссе. Ах, если бы вы знали, что такое твердая земля под ногами! Казалось, что не идешь, а катишься на хорошо смазанных роликах...

Шоссе

Шоссе было того странного типа, которого я никогда не встречал в Европе и конструкцию которого я понял только впоследствии, в бытность мою в дорожно-строительном техникуме ББК: втрамбованный в землю щебень с промоинами, с разъезженными колеями и со множеством наполненных водою дыр. Преимущество такого вида дорожного строительства заключается в том, что на старинную грунтовую дорогу просто высыпаются кучи щебенки, после чего местный Автодор* предостав-

* Организация помощи автомобильному дорожному строительству.

ляет разделяться с ними местному населению. Местное население сначала пытается объезжать эти кучи стороной, постоянно образуя широченные и непролазные обочины, но со временем колеса объезжающих телег все более и более сравнивают поверхность в шахматном порядке насыпанных куч, притрамбовывают щебень, после чего шоссе может считаться вступившим в эксплуатацию. Время от времени, в зависимости от самых разнообразных, никакого отношения к дорожному строительству не имеющих вещей, кто-то добрый засыпает вновь образовавшиеся дыры и ухабы новыми кучами той же щебенки, и дорожно-строительный ветер благополучно возвращается на круги своя...

По мере своего приближения к деревне шоссе все разбухало и разбухало, опутывая островки огородиков, приусадебных участков и выпасов необозримой дельтой густой грязи. «В струе» фигурировала все та же щебенка, но уже пополам перемешанная с грязью, как миндаль в тесте рождественского пудинга.

Широченные карельские подворотни встретили нас дружным тушем остервенелого лая, а в крохотных квадратных окошках замелькали бабьи лица. Но сенсация, вызванная нашим появлением, не дала нам соответствующего морального удовлетворения. Стоявший в конце деревни попка преградил нам путь штыком и грозным басом повелел стоять не двигаясь, пока из штаба заставы не прибудет подкрепление. Впрочем, подкрепление не замедлило появиться: человек пять пограничников в зеленых фуражках окружили нас почетным караулом, и мы, попискивая разбухшими сапогами, потопали в штаб. В голове было смутно, в сердце пусто, а где-то в области нижних трех позвонков маленьким холодным паучком шевелился неопределенный страх. Паучок пытался лезть по позвоночнику вверх, но там, наверху, было слишком пусто. И он оставался где-то внизу, приглушенный и холодный, холодный...

Документики

Огромная кривая, как декорации к «Коньку-Горбунку», изба, в избе — такой же огромный и кривой стол. За столом — все сливки местного общества: начальник заставы, начальник милиции, весь партком и добрая половина всего акти-

ва. На столе — гора бумажек, справок, удостоверений, мандатов и прочих «документиков». Спор идет о том, являются ли печати на паспортах, мандатах и удостоверениях поддельными и можно ли их подделать вообще. Из содержания предыдущего трехчасового разговора с достаточной степенью ясности выявилось основное подозрение наших гостеприимных хозяев: вариант о возможности побега за границу им в голову не приходит. Но зато разубедить их в том, что мы не являемся чужеземными шпионами и диверсантами, становится с каждой новой бумажкой все труднее и труднее. Слишком уж все эти бумажки новенькие и слишком уж подозрительно их огромное количество. Тут они имеются абсолютно на все случаи жизни. Все возможные превратности предусмотрены заранее и нейтрализованы соответствующим «документиком». Кто-то когда-то сказал, что у настоящего жулика вид должен быть обязательно честным и все бумаги должны быть в полном порядке. Очевидно, именно это могло и смущает местную аристократию. А Ваня, по-видимому, в первый раз за всю свою советскую практику сталкивается с возможностью провалить все дело из-за переизбытка бумажек.

С другой стороны, возможность аутентичности всей этой бумажной лавины делает наших инквизиторов осторожными и предупредительными. Чёрт их знает, эту публику: служба службой, а ежели все эти документики всамделишные, то «брать на баса» московского журналиста и московских научных работников — вещь рискованная и высшими инстанциями не рекомендуемая...

— Оно так-то все так... — мнетса местный начмил. — Только вот у нас, товарищ Солоневич, ежели в архиве посмотреть, так мы вам таких печатей хоть тыщу съедем: то булавкой наколоты, то с картошки напечатаны... Нам печати — што! Печати нам, можно сказать, вовсе ничего!.. А вот вы нам документик покажите, всамделишный документик! Штоб видно было: вот это — да! Штоб в ем жизнь была, в документике!..

Ваня тщетно напрягал свои литературно-ораторские способности, чтобы вдохнуть «жизнь в ту мертвую материю», что покрывала стол наподобие скатерти-самобранки. Начмил и начзаставы упорно «не понимали» всей этой бумажной канители. Их девственные души требовали чего-нибудь жизненного, обтертого об собаку, «штоб видно было!»

Но, обыскивая в последней, безнадежной попытке все свои тридцать раз обшаренные карманы, Ваня совершенно случайно вывернул наружу свой знаменитый сезонный железнодорожный билет Москва — Салтыковка, который сам по себе представляется мне настолько достопримечательным, что я отважусь уступить ему несколько лаконических строчек.

Это было давно-давно. Ваня только что приехал в Салтыковку и после долгих мытарств удостоился получения сезонного билета, каковые выдаются советскими железными дорогами только тем немногим избранным, которые с совершенной достоверностью доказали свою принадлежность к великому клану так называемых «зимогоров» — т. е. людей, постоянно проживающих в каком-либо из московских пригородов и ежедневно едущих на работу, на «государственную службу», в Москву. По-видимому, Ваня наружность напоминала кондукторскому и контролерскому составу Московско-Нижегородской железной дороги те старые добрые времена, когда сезонные билеты не являлись признаком принадлежности к правящему слою страны, потому что по этому билету Ваня проезжал что-то вроде шести лет, не меняя его и даже не возобновляя. Впоследствии билет постепенно вообще перестал выниматься из кармана, и эта традиция нарушалась только в тех случаях, когда железная дорога, вследствие текучести персонала или контролера. Время и перекладывание билета из одного кармана в другой оказали на него свое действие. Различить бывшие надписи на нем можно было бы только разве путем сложного химического анализа, а печать сохранилась только в том месте, где она покрывала желатинный слой фотографии.

— Эн-ка, эн-ка, стойте, стойте! — заинтересовался начмил, заметив нечто серое и сильно потертое в мелькнувшей Ваниной руке. — Эн-ка, покажь-те-ка!

Ваня нерешительно протянул ему почтенные мощи. С минуту билет переходил из рук в руки, вызывая всеобщее восхищение. В этих звуках чувствовался восторг знатоков, нашедших среди кучи негодного старого барахла какой-нибудь особенно редкостный экземпляр античного искусства.

— Эх, товарищ Солоневич! — заявил наконец начальник заставы. — Ну и что ж вы нам этого

сразу не показали? Вот это — документ! Такого, сразу видно, не подделаешь! Тут сразу видно московское происхождение! А то — что! Навалили нам бумаги полный стол, а толку-то с нее, с бумаги! Теперь оно все ясно, теперь мы и другим бумажкам поверить можем!

Одним словом, мы думали впоследствии вставить этот билет в рамку под стекло, но он еще, оказывается, не отжил своего века: по нему Ваня проезжал еще целый год, и по нему же он в последний раз уезжал из Салтыковки, когда мы уходили во второй, предпоследний, побег...

Вечером нас кормили картошкой в мундирах. Со времен этого нашего похода гряда дымящейся картошки в мундирах неизменно ассоциируется у меня с карельским пейзажем, с холодом и бездомностью и с какой-то странной смесью отчаяния и радости. Отчаяния — из-за проигранного матча, и радости — по поводу того, что черт с ним, теперь уже все позади...

Картошка стояла на столе в огромной каменной миске и живительным паром обдавала склонившиеся над ней Степушкины очки. Степушка явственно воскрес после того, как понял, что опасности больше никакой не грозит и что идти теперь больше никуда не надо. Если цель слишком далека, то лучше жить без цели. Если рекорд слишком дорого обходится, то и слава Богу, что из него ничего не вышло!.. Ту же мысль я постарался привить и себе самому и, должен признаться, безуспешно. Было так приятно наплевать на недостижимое, признать его сумасшедшей, несбыточной затеей, разрешить самому себе быть немножко трусом, оправдать самого себя в своих же собственных глазах... И только где-то из дальнего конца черепной коробки тихий заглушённый бас спрашивал: «Ну и дурень! Ну и с чего тебе самому-то себе врать-то? Не сегодня, так завтра — ведь все равно рано или поздно опять полезешь! Нашел чему радоваться! Эх, балда-балда!..»

Но на столе дымились картошка, на ногах были в первый раз за пять дней сухие портянки (а сухие портянки — «это тоже надо что-то понимать!»), и бас не находил ответа в моей очерствевшей душе. Впрочем, он и не особенно кипятился. Он, видимо, понимал, что говорит сейчас с невменяемым человеком, и предпочитал попусту не растрчивать сил. А картошку нужно было чистить на лету, потому что иначе она обжигала пальцы, потом ее макали в кучку круп-

ной, как шрапнель, поваренной соли, и потом она таяла между небом и языком, обжигая и наполняя застывшие жилы кипящим золотом...

После этого я спал, как должен спать праведник после благополучного исхода страшного суда. А когда на следующий день нас разбудили для отправки на станцию Кивач, низенькая комната была полна ясного-ясного белого света. Я только через несколько минут сообразил, в чем было дело: снаружи землю покрывала первая, тонкая простыня снега...

Возвращение

Проходя сквозь сени, я заинтересовался странным в советской избе явлением: на стенке на вбитом в щель сосновом суку висел замечательнейший мулдук. Из породы тех мулдуков, которыми полесские мужички прошибали в свое время латы ливонских рыцарей. Я снял этот огнестрельный катапулт и принялся его рассматривать. Подумал о том, что за такой экземпляр берлинский Цейгхауз заплатил бы, вероятно, бешеные деньги. Видно было, что не только сам мулдук, но и все инструменты, которыми он был сработан, сам материал — грубо кованное железо — все это было до последней степени самодельным, допотопным и топорным. Весу в нем было килограммов восемь-десять, мушки не было вообще, а взвести огромнейший кремниевый курок можно было только с напряжением всех сил.

— Откуда у вас этот винчестер? — спросил я проходившего мимо красного молодца в кожане.

— Мое, — солидно ответил тот.

— А вам разве разрешают?

— Нам возможно, мы пограничные. Вот лишь порошу нетуть. И дробей. Доставать — доставаем, да лишь винтовочный. А простого — охотничьего — нетуть. Белков-то развелось — руками бери! Лисов — тоже. Ну да мы на них силки кладем.

— А разве Всекохотсоюз не дает? За шкурки?

— Нетуть-нетуть! В Петроводске бывает — дают, да далеко до него. А вы, товарищ, другой раз в наше место не будете? А то, может, привезли бы? Мы тут за мерку — шкурку даем... Был бы только!

— А как начальство на это дело смотрит?

— А, начальство! Начальству бы тоже белка стрельнуть! С винтовки не взять, а так — порошу им тоже нет...

Этот же парнишка провожал нас потом до станции Кивач. По дороге он несколько раз соскакивал, зачем-то бегал в лес и приносил с собой то белку, то зайца, то один раз даже что-то вроде лисы. Мы не разобрали, потому что было уже темно.

— На силок, на силок все! — с сожалением говорил он. — Эх, кабы порошку-то...

— Так зачем же вам порох, ежели вы и так вон столько на силки налавливаете?

— Э-к, силки! Силок силком, а порох порошком!.. Порошок — он бог его знает когда пригодиться может...

Отступление

Отступление протянулось черной лентой от Линдозера до Москвы. Банальный сарказм перестукивающих колес и молчание, гробовое молчание, в купе, и только время от времени Степушкино грустно-комическое чмуханье. Ваня в сильном жару лежал на верхней полке, и в красном свете вагонной свечи его лицо казалось еще краснее, и капли пота, стекавшие из уголков глаз, казались капельками крови, будто стекали кровавые слезы. И становилось жалко до жути и его, и себя, и Ирину, у которой по длинной белой шее временами пробегал горький комок, и Степушку, который свесил морщинистое яблочко лысой головы на впалую грудь и только смотрел сквозь половинчатые очки вниз, под скамейку, и через каждые три секунды жалконько почмухивал длинным несчастным носом...

Борис зажимал твердые губы между зубами, и мускулы на его лице передергивались, как лошадиная шкура, когда ее жалют оводы. Казалось, будто каждый мускул на челюстях, на лбу и вокруг губ был тренирован, как Борисовы бицепсы, и не верилось, что он дергался произвольно. Казалось, будто Борис тренирует их еще больше, чтобы убить время и чтобы время не пропадало даром.

По приезде в Москву мы для меньшей помпезности нашего прибытия вышли из поезда порознь и отправились каждый по своему маршруту по домам. Я поехал вперед — затопить печку и уготовить Ване какое-нибудь логово, Борис отправился к Ирине, в бобруйские бараки, а Степушка, слегка поскулив, — к

себе домой, на Маросейку. Вечером все должны были еще раз сойтись у нас в голубятне на прощальную трапезу, после чего Борис должен был возвращаться к себе в Орел, с риском нарваться на вернувшееся начальство, Степушка — искать себе новое место службы, потому что он имел неосторожность отказаться от старого, Ирина — снова запрячься в свою клинику, а мы с Ваней — заняться приисканием средств к дальнейшему существованию. Ибо гонорары плюс всевозможные авансы на много месяцев вперед были тщательно подчищены для покупки продовольствия, все, что можно было загнать, было загнано, и даже старых долгов взыскать было не с кого, ибо в Москве осенью, к концу учрежденческого финансового года, жалованья не выплачиваются месяцами и публика сидит на мели.

Я возвращался домой по узенькой хлюпающей дощечке салтыковского тротуара, и мрачные картины шевелились передо мной в туманной вуали упорного, как смерть, дождя. Холодные, полупустые комнатенки нашей голубятни, незалепленные рамы плачущих окон, осиротелые мыши на столе и коптящая керосиновая лампа под потолком. Дров нет, потому что в свое время, когда по советским законам полагалось их приобрести, фамилия Солоневичей витала мыслью в драпезных эмпириях и мечтала о центральноотопляемой квартирке где-нибудь в тихом и далеком Гельсингфорсе... Какие уж тут были дрова!.. Еды дома тоже никакой не предполагалось — перед отъездом все остатки были сплавлены нашей доблестной домработнице Наде, «чтоб не испортились». По дороге на Курский вокзал я заскочил на Земляной Вал, где обычно в это время дня имела место бешеная купля-продажа конской колбасы, картошки и хлеба, конечно, из-под полы, ибо подле каждой торговки таким зримым, но незрящим ангелом-хранителем торчал мильтон. По окончании служебного дня мильтон уходил домой с большим белым батоном под мышкой, с кульком картошки и с колечком «буденовки» — как величаво прозвали москвичи за ее кавалерийское происхождение карточную колбасу.

На последнюю пятерку было куплено некоторое количество картошки и хлеба, было тут же на месте загнано походное одеяло, давшее N после своей реализации некоторое количе-

ство прочих товаров первой необходимости, после чего мне только оставалось разобрать некоторую часть хозяйского забора на топку для хотя бы частичного восстановления бывшего домашнего уюта. Часа через два пришел наконец и Ваня. Температура у него шла под сорок. Он был немедленно упакован в постель и напичкан аспирином. У хозяина нашелся малиновый чай, и часа через два Ваня потел по всем несложным правилам этого вида терапии.

Вечером собрались все, которые прочие. Для чего собрались — было, в сущности, никому толком неясно. Молча, с тоскливым видом посидели вокруг Ваниного ложа, еще в тысячу первый раз попытались выяснить, как же все это могло получиться, и вынесли полное жизненной мудрости решение о том, чтобы в следующую раз ни в коем случае не дотягивать драпежа до осени. И не доверять московским метеорологическим станциям. И советским компасам...

Впрочем, впоследствии выяснился некоторый факт, сбросивший с компасов тень павшего на них обвинения. Карелия оказалась одним из немногих мест на лице земли русской, где водились так называемые магнитные аномалии. Финские хладные скалы и болота таили в себе какие-то предательские рудные залежи, отклонявшие стрелку компаса. Можно было, руководствуясь компасом, неделями ходить вокруг одного и того же места, пока какая-нибудь случайность не выдала бы сего трагического заблуждения...

* * *

С финансами дела обстояли очень плохо. Тамочке в Берлин заранее условленным шифром дано было знать, чтобы она каким-нибудь способом переслала нам в Москву пишущую машинку. Машинка в Москве — предмет величайшего люкxуса, и, загнавши ее, можно было перебиться некоторое время, пока Ваня снова не станет на ноги и пока не созреют очередные гонорары. Пока же, в поисках более близких и доступных благ, я все-таки решил вновь объявиться у Роома. Это грозило опасностью для жизни (я смылся, ничего Роому не сказав, и, судя по накопившимся дома телеграммам, сильно подвел его своим дезертирством), но в

жизни бывают положения, способные заставить человека добровольно войти в клетку разъяренного бенгальского тигра.

Снова у Роома

С пульсом в сто двадцать я стоял перед дверьми новой роомовской квартиры, куда он перебрался после того, как окончилась катастрофой попытка вселить к себе какую-то энную в квадрате жену. На невысокой фанерной двери, ничего хорошего не предвещающая, красовалась приколотая кнопками настоящая визитная карточка: «Абрам Матвеевич Роом. Режиссер и групповой руководитель «Союзкино». Из-за двери доносился монотонный голос Абрашки, что-то кому-то диктовавшего. Временами его прерывал тоненький женский голосок:

— Нет, Абанька, так нельзя! Если «одно из двух» — так должно быть что-то второе, а то что же получается? Одно есть, а второго ничего нету!.. У-у, носенька, ну дай носеньку поцелую!

— Я тебе говорю — одно из двух! — сердитым, но не чересчур сердитым голосом отвечал Абанька. — Или ты мене секретарь, или ты мене жена! А то что же это такое получается?..

Но потом, к моему великому удивлению, послышался чмок и какой-то странный, похожий на хрипение довольного крокодила, звук. Звук этот, по-видимому, исходил от Абрашки. Ничего подобного я в своей жизни от Абрашки не слышал, и душу мою внезапно охватило сомнение. Я еще потоптался с минуту перед дверью с визитной карточкой, потом тяжело вздохнул и повернул обратно. Это было в первый раз в моей жизни, что женщина стала поперек моего пути...

* * *

Выйдя на улицу, я почувствовал, что ворота в царство искусственных снов для меня теперь навсегда закрыты.

Но оставалось еще несколько шансов: где-то на свете должны были еще существовать теплые друзья, сохранившие память старого, доброго Ох Ивановича. Повернув в переулок и еще раз в переулок, я выбрался на большой торный путь, ко-

торый в былые времена безошибочно приводил меня во всеобъемлющее лоно Оськи Калужного и в компанию присных его.

Я поднялся по лестнице и постучал в желтую дверь. За дверью послышалось легкое испуганное движение, потом ручка опустилась, и в приотворившуюся шелку выглянуло косоглазое лицо Терентия — Оськиного осветителя.

— Ай, Солонэвич! — воскликнул он, но особенного энтузиазма в его тоне я как-то не почувствовал. — Ну, вайди, вайди! Куды тебя пропадал?

— Никуда не пропадал, — ответил я грустно-элегическим тоном. — А вот Абрашку одного оставлять нельзя: он женится на каждом перекрестке!..

Войдя в комнату, я оглянулся и обнаружил в ней подозрительную пустоту. Не было ни Оськи, ни Штосса, ни Оськиных чемоданов, которые в былые времена с таким потрясающим успехом восполняли абсолютно все пробелы в мебелировке, не видно было, наконец, даже Оськиной знаменитой камеры, которая, стоя в углу, узурпировала обычно половину жилплощади.

— Чтой-то здесь папахивает мерзостью запустения! — спросил я запиравшего за мной Терентия.

— Чэм папахивает? — переспросил тот. — Уй, да, мэрзость, мэрзость, ГПУ бил позавчэра, забрал Оська, забрал аппаратура, забрал даже водка в бутылка, пить вовсе нэчего осталось...

— Забрал Оська?! — вскричал я. — Куда забрал Оська?! Почему забрал Оська?!

— Абрашка вовсе засыпался со своим Горьким. Горький написал сценарий, Абрашка стал крутить, потом пришел ГУК, сказаль — сценарий к чёрту, ГПУ сказаль — сценарий все-таки крутить, Басс сказаль — хорошо, крутить так крутить, нам какое дэло, раз дэнга все равно выписана! Оська сказаль — такой сценарий крутить нэ будэт, сказаль — сценарий надо на Красную площадь, в сортир, для обслуживания граждан, вот ГПУ и пришел, сказаль — гайда... Тэпэрь Оська на Лубянка, и Агафий тоже на Лубянка, а Штосс куда-то смылся, вовсе нэт Штосса... ГПУ пришел искать Штосса — Штосса нэт, будто вовсэ и нэ было... Мэня ГПУ сказаль подписать подписка об нэвыезде, вот я тэпэрь сидит и нэ выезжает...

Вид у Терентия был донельзя пришибленный и обиженный. Даже потоки богохульств, так легко и сногшибательно стекавшие с его монгольс-

ких уст, попритихли и иссякли, а желтый чуб прилип к вискам и посерел, будто его долгое время посыпали пеплом...

— Но Терентий! — возопил я. — Что же это будет?! Они ж укатают Оську куда-нибудь в Соловки — что ж мы тогда будем делать?! Об нем хоть кто-нибудь хлопчет, передачи кто-нибудь носит? Был кто-нибудь там, на Лубянке, — хоть узнать, чем все это дело пахнет?!

— Уж был-был! Уж Басс был раз тридцать, и Керж был раз тридцать, и Киришон был раз тридцать, только вот Абрашка, сукин сын, сидит, мать его... от одна баба на другая баба переженивается! У нэго там вэдь блат есть, у мэзавца, уж я ему кишку выверну — пусть вот только снимут подлые подписку об нэвыезде!..

— А при чем тут подписка о невыезде?

— Как при чем?! Я ему кишку выверну, так меня потом тут же на месте туда же на Лубянку! Нет — вот пусть подождет, пока я билеты на Ташкент достану, вот тогда пусть меня поймают, сволочи! Уж я ему глаз выдеру, уж я ему кишку выпущу, расперегаю его, трам-там-там!..

По-видимому, кровожадным мечтам Терентия не суждено было сбыться. Месяца через три я встретил его на Тверской в сопровождении некоей косоглазой дульсиной и спросил о последних сведениях относительно Оськи.

— Сидит! — с видимым удовольствием отвечал Терентий. — Сидит подле Ташкента на поселении, меня к себе приглашает! Пишет, — говорит, ну его ко всем чертям с Москвой, и с Бассом, и с «Союзкино», и вообще — ко всем чертям! Приезжай, — пишет, — будешь у меня в юрте с верблюдихи молоко доить! Хы-хы... Про тебя спрашивал. Спрашивал, куда тебя запропало и не сидишь ли тоже.

— Штосс — что? Ничего не слышать?

— Штосс нэма! — пожал плечами Терентий. — Как пропаль — так пропаль... Может, тоже где-нибудь на песках шатай-болтай...

— А Абрашка — что?

— У, Абрашка! — окрысился он. — Абрашка, — Терентий пытался было еще лишний раз по-своему охарактеризовать нашего общего бывшего шефа, но, вспомнив про наличие своей нежной спутницы, вовремя удержался.

Вроде эпилога

Прошел год. За этот год, как и полагается всякому соответствующему отрезку времени, утекли целые океаны воды, и если бы нервы можно было измерять мерами длины, их поистрепались целые километры... Это был год существования на полустанке, между двумя поездами, один из которых потерпел на местном перегоне крушение, а другой должен был принять уцелевших пассажиров для их дальнейшего транспортирования. Пассажиры сидели на переломанных чемоданах в нетопленном зале ожидания и предавались мрачным размышлениям о том, что вот теперь они бы уже могли быть у цели своего путешествия, в теплой кровати, со стаканом горячего чаю на ночном столике... И с другой стороны — благодарили Бога, что и вообще-то выбрались живьем из всей этой комбинации.

Странно — об этом годе у меня не сохранилось почти никаких воспоминаний... Моя кинокарьера, вместе со всякого рода связанными с нею честолюбивыми проектами, в тихом благополучии закончилась. Других проектов как-то не возникло, да если бы они и возникли, для них не было бы ни времени, ни охоты, ни даже хотя бы относительного спокойствия души. Заниматься выбором профессии и призвания, сидя на разбитом чемодане, — занятие утопическое. Когда же человеку совершенно нечего делать, он обычно садится писать либо мемуары, либо роман. Поразмыслив, я выбрал последнее.

Началось с того, что Ваня ни с того ни с сего заявил мне, что годам к сорока я стану писателем. Утверждение это вызвало у меня ироническую усмешку, но сама мысль мне понравилась. А так как промежутков времени, свободных от стояния в очередях, от поездок в город и от тренировки в хождении по лесу заполнить было все равно нечем, то вот я и приступил к созиданию своего первого литературного детища, каковое детище впоследствии, в незаконченном виде, было передано в верные руки для переправки его по месту нашего будущего жительства — в Берлин. В процессе переправки детище куда-то запропало, и вот только теперь, больше пяти лет спустя, я снова обнару-

жил его заваянные временем следы. Чем чёрт в наши-то времена не шутит! Может быть, еще как-нибудь и удастся прочесть то, что когда-то писал мой маленький предшественник...

Всего только шесть лет, а времени-то, времени-то! Не принесли эти шесть лет ни таких желанных, на веленовой бумаге, дипломов об окончании многолетних, солидных учебных заведений, не дали они даже того, что в доброй старой Германии называется «ehrbarer beruf!» — почтенной профессии. Не дали они ни спокойствия за собственное будущее, ни даже, уж если мы попали на тему о будущем, — самой простой и хотя бы самой относительной уверенности в завтрашнем дне.

Какие-то сотни, а может быть, и тысячи людей пронесли мимо меня за эти шесть лет — все в разных расстояниях от меня, одни — ближе, другие дальше; но все — только в одном направлении: назад, назад, назад. Будто я врезался в хвост кометы и вот теперь кричу: «правей!» — и наземь упадаю... Впрочем, даже и наземь еще как-то не довелось упасть...

Трехмерными зигзагом проскочили эти годы. Ученые химики говорят, что так прыгают молекулы в капельке воды. И — что самое удивительное — не видать этим прыжкам ни конца, ни краю, а маленькие голубые дырочки, которые время от времени появляются в рваных тучах завтрашнего дня, с систематической бессистемностью заслоняются какими-то темными телами, проносящимися неизвестно откуда и неизвестно куда, как болиды в мировом космосе... Темно, смутно и пахнет черт его знает чем...

Временами у меня, как и у всякого человека, бывают настроения, когда хочется немножко похныкать. И вот тут эти шесть лет дают неисчерпаемый и благодарнейший материал для всякого рода сладострастного самоистязания. Что может быть лучше, чем если человек в периоды черного сплина имеет возможность заняться бросанием горьких упреков по адресу судьбы, с полным и нерушимым сознанием их заслуженной и своей собственной правоты и невинности?..

Но все-таки если бы, допустим, на моем горизонте появился некий дядя, старательно прикрывающий высоким цилиндром кокет-

ливые рожки на низком и курчавом лбу, который быстрыми и ловкими движениями опытного коммивояжера разложил бы передо мной на кровати добрый миллион различных человеческих судеб нашего времени и потом предложил бы мне выбрать любую взамен моей зигзагообразной собственной, — я бы ответил ему роомовским выражением:

— Уйдите вы ко всем чёртовым бабушкам!..

Это одна из немногих и для простого смертного трудноуловимых причин, почему я все-таки несмотря ни на что считаю себя оптимистом...

* * *

Судьба, однако, продолжала описывать по мостовой времени свои в доску пьяные зигзаги, и в тысяча девятьсот тридцать третьем году мы с треском сели в ГПУ. Но я не собираюсь отбивать хлеб собственному папаше, и лиц, заинтересованных тем, каким именно образом это случилось, отсылаю непосредственно к его книге «Россия в концлагере». Эпоха наших двух последних драпелей разработана в этом труде так, что ничего не оставлено последующим мелким старателям-одиночкам.

Я только позволю себе вкратце описать ту дыру, которую капля, в результате долголетних усилий, все-таки пробивает в камне — конечный результат нашего похода, который, в сущности, продлился ни много ни мало три года: в результате мы все-таки драпанули.

Четырнадцатого августа тысяча девятьсот тридцать четвертого года мы с сияющими от счастья и комариных укусов лицами выбрали, наконец, как и было задумано, на финскую территорию, в стопроцентном на сей раз убеждении, что жизнь для нас начинается завтра.

В тех случаях, когда жизнь начинается не «когда-нибудь» через пару недель, а именно завтра, и когда она начинается не «как-нибудь», а именно на все сто процентов, как у трехчасового младенца, — человеку надлежит сесть за стол, положить на него локти и в холодном спокойствии обдумать, что же, в конце концов, и как именно он предполагает начинать. Но пуше всего — где?

* * *

Ненавидя всеми розовыми фибрами своей юной души политику, все, что ее окружало, из нее проистекало и с ней соприкасалось, я голосовал за Гонолулу. Но Ваня вспомнил какое-то сообщение советских газет о том, что американское правительство превратило эту мечту моего детства в одну сплошную авиабазу, и Гонолулу автоматически отпало.

Ваня был еще менее требователен: он ничего не имел против политики, при том лишь условии, чтобы она не разыгрывалась на его собственной шкуре. Единственное требование, которое он выставлял стране нашего будущего жительство, — это чтобы она по мере возможности ни с кем не воевала и чтобы дождик лил там не более четырех месяцев в году. Его скромной мечтой была (остается и до сих пор) некая трапперская хижина на берегу тихого озера с достаточным количеством карасей, чтобы они изредка попадались и на его безыскусный крючок. Хижина должна была содержать в себе пишущую машинку и достаточное количество бумаги на предмет написания пятитомного труда о своем советском житье-бытье.

Протерев пальцами карту обоих полушарий, мы, в конце концов, остановили свой выбор на стране, которая, по-видимому (не забудьте — это было в 1934 году!), отвечала всем нашим потребностям. С той лишь разницей, что вместо карасей ее озера содержали в себе крокодилов и что за бумагой и лентой для пишущей машинки приходилось бы проезжать несколько сот километров на — допустим — верблюде. Эта страна не имела худой славушки крупного мирового политического фактора, и, тщательно обследовав все ее границы, мы пришли к убеждению, что даже и воевать-то ей в сущности не с кем. Что же касается дождей, то разные энциклопедии придерживались в этом отношении разных мнений, но в общем все сходились на том, что страна эта по своему своему географическому положению сухая и ни в коем случае не дождливая. Представьте себе — это была Абиссиния...

Теперь мы, как известно нашим читателям, сидим в Германии. От политики, как нашим читателям тоже известно, нам отделаться не удалось. Через три дня после того, как я допишу последние строки своего настоящего повествования, мы будем справлять свой собственный маленький юбилей: это будет ровно четыре года после того, как жизнь должна была начаться завтра. С тех пор она, правда, началась по меньшей мере двадцать раз.

Но мечта о хижине с карасями как висела, так и продолжает висеть перед нами девственной чистоты хрустальным замком. С той только разницей, что мы теперь стали мудрее и спокойнее. Мы теперь не шарим больше пальцами по картам чужих и холодных полушарий, не строим больше утопических проектов и не рыщем взорами в голубых далях неведомых «тридевятьземель». Дело в том, что мы вспомнили, что на берегу Серебряного пруда в Салтыковке стоит именно такая маленькая хибарка и что в Серебряном пруду была неистовая уйма самых настоящих, золотистых и жирных карасей. Там же мы надеемся (!..) отделаться, наконец, и от трижды проклятой политики...

□